

Валерий Брюсов

Рассказы



Валерий Яковлевич Брюсов
Рассказы

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21119110
0101*

Содержание

Бемоль	4
В башне	13
В зеркале	20
В подземной тюрьме	35
I	35
II	37
III	39
IV	41
V	43
VI	45
VII	47
VIII	48
IX	50
X	52
Мраморная головка	55
Под Старым мостом	61
Республика Южного Креста	82
Теперь, когда я проснулся,..	113

Валерий Яковлевич Брюсов

Рассказы

Бемоль

ИЗ ЖИЗНИ ОДНОЙ

ИЗ МАЛЫХ СИЛ

Как только Анна Николаевна кончила пансион, ей подыскали место продавщицы в писчебумажном магазине «Бемоль». Почему магазин назывался так, сказать трудно: вероятно, прежде в нем продавались и ноты. Помещался магазин где-то на проезде бульвара, покупателей было мало, и Анна Николаевна целые дни проводила почти одна. Ее единственный помощник, мальчик Федька, с утра, после чая, заваливался спать, просыпался, когда надо было бежать в кухмистерскую за обедом, и после засыпал опять. Вечером на полчаса являлась хозяйка, старая немка Каролина Густавовна, обирала выручку и попрекала Анну Николаевну, что она не умеет завлекать покупателей. Анна Николаевна ее ужасно боялась и слушала, не смея произнести ни слова. Магазин запирали в девять; придя домой, к тетке, Анна Николаевна пила жидкий чай с черствыми баранками и тотчас ложилась спать.

Первое время Анна Николаевна думала развлекаться чтением. Она доставала, где только можно, романы и старые журналы и добросовестно прочитывала их страница за страницей. Но она путала имена героев в романах и не могла понять, зачем пишут о разных выдуманных Жаннах и Бланках и зачем описывают прекрасные утра, все одно на другое похожие. Чтение было для нее трудом, а не отдыхом, и она забросила книги. Уличные ухаживатели не очень надоедали Анне Николаевне, потому что не находили ее интересной. Если кто-нибудь из покупателей слишком долго говорил ей любезности, она уходила в каморку, бывшую при магазине, и высылала Федьку. Если с ней заговаривали, когда она шла домой, она, не отвечая ни слова, ускоряла шаги или просто бежала бегом до самого своего крыльца. Знакомых у нее не было, ни с кем из пансионных подруг она не переписывалась, с теткой не говорила и двух слов в сутки. Так проходили недели и месяцы.

Зато Анна Николаевна сдружилась с тем миром, который окружал ее, – с миром бумаги, конвертов, открытых писем, карандашей, перьев, сводных, рельефных и вырезных картинок. Этот мир был ей понятнее, чем книги, и относился к ней дружественнее, чем люди. Она скоро узнала все сорта бумаги и перьев, все серии открытых писем, дала им названия, чтобы не называть номером, некоторые полюбила, другие считала своими врагами. Своим любимчикам она отвела лучшие места в магазине. Бумаге одной рижской фабрики,

на которой были водяные знаки рыб, она отдала самую новую из коробок, края которой оклеила золотым бордюром. Сводные картинки, представлявшие типы древних египтян, убрала в особый ящик, куда, кроме них, клала только ручки с голубями на конце. Открытые письма, где изображался «путь к звезде», завернула отдельно в розовую бумагу и заклеила облаткой с незабудкой. Напротив, она ненавидела толстые стеклянные, словно сытые, чернильницы, ненавидела полосатые транспаранты, которые всегда кривились, словно насмехались, и свертки гофреной бумаги для абажуров, пышные и гордые. Эти вещи она прятала в самый дальний угол магазина.

Анна Николаевна радовалась, когда продавались любимые ею вещи. Только когда тот или другой сорт таких вещей подходил к концу, она начинала тревожиться и отваживалась даже просить Каролину Густавовну поскорее сделать новый запас. Однажды неожиданно распродалась партия маленьких весов для писем, которые шли плохо, и которые Анна Николаевна полюбила за их обездоленность; последнюю штуку продала вечером сама хозяйка и не захотела выписывать их вновь. Анна Николаевна два дня после того проплакала. Когда же продавались вещи нелюбимые, Анна Николаевна сердилась. Когда брали целыми дюжинами отвратительные тетради с синими разводами на обертке или грубо отпечатанные открытые письма с портретами актеров, ей казалось, что ее любимцы оскорблены. Она в таких случаях

так упорно отговаривала от покупки, что многие уходили из магазина, не купив ничего.

Анна Николаевна была убеждена, что все вещи в магазине ее понимают. Когда она перелистывала дести любимой бу-маги, ее листы шуршали так приветливо. Когда она целовала голубков на концах ручек, они трепетали своими деревян-ными крылышками. В тихие зимние дни, когда шел снег за заиндевевшим окном с некрасивыми кругами от лампы, когда за целые часы никто не входил в магазин, она вела длинные беседы со всем, что стояло на полках, что лежало в ящиках и коробках. Она вслушивалась в безмолвную речь и обменива-лась улыбками и взглядами со знакомыми предметами. Та-ясь, она раскладывала на конторке свои любимые картинки – ангелов, цветы, египтян, рассказывала им сказки и слушала их рассказы. Иногда все вещи пели ей хором чуть слышную, убаюкивающую песню. Анна Николаевна заслушивалась ею до того, что входящие покупатели зло усмехались, думая, что разбудили сонливую приказчицу.

Перед рождеством Анна Николаевна переживала тяжелые дни. Покупатели являлись особенно часто. Магазин был за-вален грудой картонажей, ярких, режущих глаза, безобраз-ными хлопучками и золотыми рыбами в наскоро склеенных коробках. На стенах развешивались отрывные календари с портретами великих людей. Былолюдно и неприятно. Но за лето Анна Николаевна отдыхала вполне. Торговля почти прекращалась, нередко день проходил без копейки выручки.

Хозяйка уезжала из Москвы на целые месяцы. В магазине было пыльно и душно, но тихо. Анна Николаевна размещала повсюду свои любимые картинки, выставляла в витринах на первое место свои любимые карандаши, ручки и резинки. Из цветной папиросной бумаги она вырезывала тонкие ленты и оббивала ими стертые колонки шкапов. Она громким шепотом разговаривала со своими любимцами, рассказывала им про свое детство, про свою мать и плакала. И они, казалось ей, утешали ее. Так проходили месяцы и годы.

Анна Николаевна и не думала, что в ее жизни может что-нибудь измениться. Но однажды осенью, вернувшись в Москву особенно злой и сварливой, Каролина Густавовна объявила, что будет общий счет товара. В ближайшее воскресенье на дверь приклеили билетик с надписью, что «сегодня магазин закрыт». Анна Николаевна с тоской смотрела, как хозяйка жирными пальцами пересчитывала ее избранные декалькомани, такие тонкие и изящные, загибая края, как она небрежно швыряла на прилавок заветные ручки с голубками. В товарной книге, исписанной осторожным и бледным почерком Анны Николаевны, хозяйка делала грубые отметки с росчерками и чернильными брызгами. Каролина Густавовна недосчиталась что-то многого: целых стоп бумаги, несколько grossов карандашей и разных отдельных вещей-стереоскопов, увеличительных стекол, рамок. Анна Николаевна была убеждена, что никогда и не видала их в магазине. Потом Каролина Густавовна высчитала, что выручка

с каждым месяцем все уменьшается. Это она поставила на вид Анне Николаевне с бранью, назвала ее воровкой и сказала, что более не нуждается в ее службе, что отказывает ей от места.

Анна Николаевна ушла в слезах, не посмев возразить ни слова. Дома ей пришлось, конечно, выслушать брань и от тетки, которая то называла ее дармоедкой, то грозила, что подаст в суд на немку и не позволит оскорблять свою племянницу. Но Анну Николаевну не столько пугало, что она без места, и не столько мучила несправедливость Каролины Густавовны, сколько была невыносима разлука с любимыми вещами из магазина. Анна Николаевна думала о рельефных ангелочках, качающихся на облаках, о головках Марии Стюарт, о бумаге со знаками рыб, о знакомых коробках и ящиках и рыдала без устали. Ей вспоминался предвечерний час, когда уже зажгли лампы, вспоминались ее безмолвные беседы с друзьями, чуть слышный хор, звучавший с полок, — и сердце надрывалось от отчаянья. При мысли, что ей больше никогда, никогда не придется свидеться со своими любимцами, она бросалась ничком на свою маленькую кровать и молила у бога смерти.

Месяца через полтора тетке посчастливилось найти Анне Николаевне новое место, тоже в писчебумажном магазине, но на бойкой, людной улице. Анна Николаевна отправилась на свою новую должность со щемящей тоской. Кроме нее, там служила еще одна барышня и молодой человек. Хозяин

тоже большую часть дня проводил в магазине. Покупателей было много, так как поблизости было несколько учебных заведений. Весь день приходилось быть на глазах других, подсмеивавшихся над Анной Николаевной и презиравших ее. Своих прежних любимцев она не нашла здесь. Все выписывалось через другие конторы от других фабрикантов. Бумага, карандаши, перья – все казалось здесь не живым. А если и было несколько таких же вещей, как в «Бемоли», то они не узнавали Анны Николаевны, и она напрасно, улучив минуту, им шептала их самые нежные имена.

Единственной радостью для Анны Николаевны стало подходить вечером, на пути домой, к окнам своего прежнего магазина, запиравшегося позже. Она всматривалась сквозь запыленные стекла в знакомую комнату. За прилавком стояла новая продавщица, смазливая немочка с буклями на лбу. Вместо Федыки был рослый парень лет пятнадцати. Покупатели выходили из магазина, смеясь: им было весело. Но Анна Николаевна верила, что ее знакомые картинки, ручки и тетрадки помнят ее и любят по-прежнему, и эта вера ее утешала.

Долго Анна Николаевна мечтала о том, чтобы войти еще раз внутрь магазина, посмотреть опять на старые шкафы и витрины, показать своим любимцам, что и она помнит их. Несколько раз она давала себе слово, что сделает это сегодня, и все не решалась, особенно боясь встретиться с хозяйкой. Но однажды вечером она увидела, что Каролина Густавов-

на вышла из магазина, взяла извозчика и уехала. Это придало Анне Николаевне смелости. Она отворила дверь и вошла с замиранием сердца. Немочка, с буклями на лбу, приготовила, было, очаровательную улыбку, но, рассмотрев покупательницу, удовольствовалась легким наклоном головы.

– Что вам угодно, мадемуазель?

– Дайте мне... дайте писчей бумаги... десть... с рыбами.

Немочка снисходительно улыбнулась, догадалась, что у нее спрашивают, и пошла к шкалу налево. Анна Николаевна с недоумением и тоской последовала за ней глазами. Прежде эта бумага хранилась в коробке с золотым бордюром. Но прежних коробок уже не было; вместо них были безобразные черные ящики с надписями: «4-й 20 к.», «Министерская 40 к.». В шкалах на первое место были выставлены стеклянные чернильницы. Груда гофренной бумаги занимала всю нижнюю полку. Открытые письма с портретами актеров были в виде веера прибиты там и сям к стенам. Все было передвинуто, перемещено, изменено.

Немочка положила перед Анной Николаевной бумагу, спрашивая, та ли это... Анна Николаевна с жадностью взяла в руки красивые листы, которые когда-то умели отвечать на ее ласки; но теперь они были жестки, как мертвецы, и также бледны. Она тоскливо оглянулась кругом: все было мертво, все было глухо и немо.

– С вас тридцать пять копеек, мадемуазель.

Даже цена была изменена! Анна Николаевна уплатила

деньги и вышла на холод, сжимая в руках свернутую трубочкой бумагу. Октябрьский ветер пронизывал ее сквозь короткое обносившееся пальто. Свет фонарей расплывался большими пятнами в тумане. Было холодно и безнадежно.

В башне

ЗАПИСАННЫЙ СОН

Нет сомнения, что все это мне снилось, снилось сегодня ночью. Правда, я никогда не думал, что сон может быть столь осмысленным и последовательным. Но все события этого сна стоят вне всякой связи с тем, что испытываю я сейчас, с тем, что говорят мне воспоминания. А чем иным отличается сон от яви, кроме того, что оторван от прочной цепи событий, совершающихся наяву?

Мне снился рыцарский замок, где-то на берегу моря. За ним было поле и мелкорослые, но старые сосновые леса. Перед ним расстился простор серых северных волн. Замок был построен грубо, из камней страшной толщины, и со стороны казался дикой скалой причудливой формы. Глубокие, неправильно расставленные окна были похожи на гнезда чудовищных птиц. Внутри замка были высокие, сумрачные покои и гулкие переходы между ними.

Вспоминая теперь обстановку комнат, одежду окружавших меня лиц и другие мелкие подробности, я с ясностью понимаю, в какие времена унесла меня греза. То была страшная, строгая, еще полудикая, еще полная неукротимых порывов жизнь средневековья. Но во сне, первое время, у меня не было этого понимания эпохи, а только темное ощущение,

что сам я чужд той жизни, в которую погружен. Я смутно чувствовал себя каким-то пришельцем в этом мире.

Порою это чувство обострялось. Что-то вдруг начинало мучить мою память, как название, которое хочешь и не можешь вспомнить. Стреляя птиц из самострела, я жаждал иного, более совершенного оружия. Рыцари, закованные в железо, привыкшие к убийству, ищущие только грабежей, казались мне вырожденками, и я провидел возможность иного, более утонченного существования. Споря с монахами о схоластических вопросах, я предвкушал иное знание, более глубокое, более совершенное, более свободное. Но когда я делал усилие, чтобы что-то вспомнить, мое сознание затуманивалось снова.

Я жил в замке узником или, вернее, заложником. Мне была отведена особая башня, со мною обращались почтительно, но меня сторожили. Никакого определенного занятия у меня не было, и праздность тяготила меня. Но было одно, что делало жизнь мою счастьем и восторгом: я любил!

Владельца замка звали Гуго фон-Ризен. Это был гигант с громовым голосом и силой медведя. Он был вдов. Но у него была дочь Матильда, стройная, высокая, светлоокая. Она была подобна святой Екатерине на иконах итальянского письма, и я ее полюбил нежно и страстно. Так как в замке Матильда распоряжалась всем хозяйством, то мы встречались по несколько раз в день, и каждая встреча уже наполняла мою душу блаженством.

Долго я не решался говорить Матильде о моей любви, хотя, конечно, мои взоры выдавали тайну. Роковые слова я произнес как-то совсем неожиданно, однажды утром, на исходе зимы. Мы встретились на узкой лестнице, ведущей на сторожевую вышку. И хотя нам много раз случалось оставаться наедине, – и в оснеженном саду, и в сумеречном зале, при чудесном свете луны, – но почему-то именно в этот миг я почувствовал, что не могу молчать. Я прижался к стене, протянул руки и сказал: «Матильда, я тебя люблю!» Матильда не побледнела, а только опустила голову и ответила тихо: «Я тоже тебя люблю, ты – жених мой». Потом она быстро побежала вверх, а я остался у стены, с протянутыми руками.

В самом последовательном сне всегда бывают какие-то перерывы в действии. – Я ничего не помню из того, что случилось в ближайшие дни после моего признания. Мне вспоминается только, как мы с Матильдой бродили вдвоем по побережью, хотя по всему видно, что это было несколько недель спустя. В воздухе уже веяло дыханием весны, но кругом еще лежал снег. Волны с громовым шорохом белыми гребнями накатывались на береговые камни.

Был вечер, и солнце утопало в море, как волшебная огненная птица, обжигая края облаков. Мы шли рядом, немного сторонясь друг от друга. На Матильде была подбитая горностаем шубка, и края ее белого шарфа развевались от ветра. Мы мечтали о будущем, о счастливом будущем, забывая, что мы – дети разных племен, что между нами пропасть народ-

ной вражды.

Нам было трудно говорить, так как я недостаточно знал язык Матильды, а она не знала моего вовсе, но мы понимали многое и вне слов. И до сих пор мое сердце дрожит, когда я вспоминаю эту прогулку вдоль берега, в виду сумрачного замка, в лучах заката. Я изведаль, я пережил истинное счастье, а наяву или во сне — не все ли равно!

Должно быть, на другой день, утром, мне объявили, что Гуго хочет говорить со мною. Меня провели к нему. Гуго сидел на высокой скамье, покрытой лосиными шкурами. Монах читал ему письма. Гуго был мрачен и гневен. Увидев меня, он сказал мне сурово:

— Ага! знаешь, что делают твои земляки? Вам мало, что мы побиили вас под Изборском! Мы зажгли Псков, и вы просили нас о пощаде. Теперь вы зовете Александра, кичащегося прозвищем Невского. Но мы вам не шведы! Садись и пиши своим о нашей силе, чтобы образумились. Не то и ты, и все другие ваши заложники поплатятся жестоко.

Трудно разъяснить до конца, какое меня тогда охватило чувство. Первой властно заговорила в моей душе любовь к родине, бездоказательная, стихийная, как любовь к матери. Я почувствовал, что я — русский, что предо мною враги, что здесь я выражаю собою всю Русь. Одновременно с тем я увидел, с горестью сознал, что счастье, о котором мы мечтали с Матильдой, навсегда, невозвратно отошло от меня, что любовь к женщине я должен принести в жертву любви к роди-

не...

Но едва эти чувства наполнили мою душу, как вдруг где-то, в самой глубине моего сознания, загорелся неожиданный свет: я понял, что я сплю, что все – и замок, и Гуго, и Матильда, и моя любовь к ней – лишь моя греза. И вдруг мне захотелось рассмеяться в лицо суровому рыцарю и его подручнику-монаху, так как я уже знал, что проснусь, и ничего не будет – ни опасности, ни скорби. Неодолимое мужество ощутил я в своей душе, так как от моих врагов мог уйти в тот мир, куда они не могли последовать за мною.

Высоко подняв голову, я ответил Гуго:

– Ты сам знаешь, что не прав. Кто вас звал в эти земли? Это море – искони русское, варяжское. Вы пришли крестить чужд, корсь и ливь, а вместо того настроили замков по холмам, гнетете народ и грозите нашим городам до самой Ладогги. Александр Невский восстал на святое дело. Радуюсь, что псковичи не пожалели своих заложников. Не напишу того, что хочешь, но дам знать, чтобы шли на вас. С правыми бог!

Я говорил это, словно играя роль на сцене, и подбирал нарочно старинные выражения, чтобы мой язык соответствовал эпохе, а Гуго пришел от моих слов в ярость.

– Собака, – крикнул он мне, – раб татарский! Я велю тебя колесовать!

Тут вспомнился мне, быстро, словно откровение, осеняющее свыше провидца, весь ход русской истории, и, как пророк, торжественно и строго, я сказал немцам:

– Александр побьет вас на льду Чудского озера. Сметы не будет порубленным рыцарям. А потомки наши и всю эту землю возьмут под свое начало, и будут у них в подчинении потомки ваши. Это знайте!

– Уберите его! – закричал Гуго, и от гнева жилы у него на шее надулись, посинев.

Слуги увели меня, но не в мою башню, а в смрадное подземелье, в темницу.

Потянулись дни во мраке и сырости. Я лежал на гнилой соломе, в пищу мне швыряли заплесневелый хлеб, целыми сутками я не слышал человеческого голоса. Моя одежда скоро обратилась в лохмотья, мои волосы сбились в комок, мое тело покрылось язвами. Только в недостижимых мечтах представлялось мне море и солнце, весна и свежий воздух, Матильда. А в близком будущем меня ждали колесо и дыба.

Насколько реальны были радости моих свиданий с Матильдой, настолько реальны были и мои страдания в темнице ее отца. Но во мне уже не меркло сознание, что я сплю и вижу дурной сон. Зная, что настанет миг пробуждения, и стены моей тюрьмы развеются, как туман, я находил в себе силы безропотно переносить все муки. На предложения немцев купить свободу ценой измены родине я отвечал гордый отказом. И сами враги начали уважать мою твердость, которая мне стоила дешевле, нежели они думали.

На этом мой сон прерывается... Я мог погибнуть от руки палача или меня могло избавить от неволи Ледовое побо-

ище 5 апреля 1241 года, как и других псковских аманатов. Но я просто проснулся. И вот я сижу за своим письменным столом, окруженный знакомыми, любимыми книгами, записываю свой длинный сон, собираюсь начать обычную жизнь этого дня. Здесь, в этом мире, среди тех людей, что за стеной, я у себя, я в действительности...

Но странная и страшная мысль тихо подымается из темной глубины моего сознания: что если я сплю и грежу теперь и вдруг проснусь на соломе, в подземелье замка Гуго фон-Ризен?

В зеркале

ИЗ АРХИВА ПСИХИАТРА

Я зеркала полюбила с самых ранних лет. Я ребенком плакала и дрожала, заглядывая в их прозрачно-правдивую глубину. Моей любимой игрой в детстве было – ходить по комнатам или по саду, неся перед собой зеркало, глядя в его пропасть, каждым шагом переступая край, задыхаясь от ужаса и головокружения. Уже девочкой я начала всю свою комнату уставлять зеркалами, большими и маленькими, верными и чуть-чуть искажающими, отчетливыми и несколько туманными. Я привыкла целые часы, целые дни проводить среди перекрещивающихся миров; входящих один в другой, колеблющихся, исчезающих и возникающих вновь. Моей единственной страстью стало отдавать свое тело этим беззвучным далям, этим перспективам без эхо, этим отдельным вселенным, перерезывающим нашу, существующим, наперекор сознанию, в одно и то же время и в одном и том же месте с ней. Эта вывернутая действительность, отделенная от нас гладкой поверхностью стекла, почему-то недоступная осязанию, влекла меня к себе, притягивала, как бездна, как тайна.

Меня влек к себе и призрак, всегда возникавший предо мной, когда я подходила к зеркалу, странно удваивавший мое существо. Я старалась разгадать, чем та, другая женщи-

на отличается от меня, как может быть, что моя правая рука у нее левая, и что все пальцы этой руки перемещены, хотя именно на одном из них – мое обручальное кольцо. У меня мутились мысли, когда я пыталась вникнуть в эту загадку, разрешить ее. В этом мире, где ко всему можно притронуться, где звучат голоса, жила я, действительная; в том, отраженном мире, который можно только созерцать, была она, призрачная. Она была почти как я, и совсем не я; она повторяла все мои движения, и ни одно из этих движений не совпадало с тем, что делала я. Та, другая, знала то, чего я не могла разгадать, владела тайной, навек сокрытой от моего рассудка.

Но я заметила, что у каждого зеркала есть свой отдельный мир, особенный. Поставьте на одно и то же место, одно за другим, два зеркала – и возникнут две разные вселенные. И в разных зеркалах передо мной являлись призраки разные, все похожие на меня, но никогда не тождественные друг с другом. В моем маленьком ручном зеркальце жила наивная девочка с ясными глазами, напоминавшими мне о моей ранней юности. В круглом будуарном таилась женщина, изведавшая все разнообразные сладости ласк, бесстыдная, свободная, красивая, смелая. В четырехугольной зеркальной дверце шкапа всегда вырастала фигура строгая, властная, холодная, с неумолимым взором. Я знала еще другие мои двойники – в моем трюмо, в складном золоченом триптихе, в всячем зеркале в дубовой раме, в шейном зеркальце и во мно-

гих, во многих, хранившихся у меня. Всем существам, таящимся в них, я давала предлог и возможность проявиться. По странным условиям их мира, они должны были принимать образ того, кто становился перед стеклом, но в этой заимствованной внешности сохраняли свои личные черты.

Были миры зеркал, которые я любила; были-которые ненавидела. В некоторые я любила уходить на целые часы, теряясь в их завлекающих просторах. Других я избегала. Свои двойники втайне я не любила все. Я знала, что все они мне враждебны, уже за одно то, что принуждены облекаться в мой, ненавистный им образ. Но некоторых из зеркальных женщин я жалела, прощала им ненависть, относилась к ним почти дружески. Были такие, которых я презирала, над бессильной яростью которых любила смеяться, которых дразнила своей самостоятельностью и мучила своей властью над ними. Были, напротив, и такие, которых я боялась, которые были слишком сильны и осмеливались в свой черед смеяться надо мной, приказывали мне. От зеркал, где жили эти женщины, я спешила освободиться, в та кие зеркала не смотрелась, прятала их, отдавала, даже разбивала. Но после каждого разбитого зеркала я не могла не рыдать целыми днями, сознавая, что разрушила отдельную вселенную. И укоряющие лики погубленного мира смотрели на меня укоризненно из осколков.

Зеркало, ставшее для меня роковым, я купила осенью, на какой-то распродаже. То было большое, качающееся на

винтах, трюмо. Оно меня поразило необычайной ясностью изображений. Призрачная действительность в нем изменялась при малейшем наклоне стекла, но была самостоятельна и жизненна до предела. Когда я рассматривала это трюмо на аукционе, женщина, изображавшая в нем меня, смотрела в глаза мне с каким-то надменным вызовом. Я не захотела уступить ей, показать, что она испугала меня, – купила трюмо и велела поставить его у себя в будуаре. Оставшись в своей комнате одна, я тотчас подступила к новому зеркалу и вперила глаза в свою соперницу. Но она сделала то же, и, стоя друг против друга, мы стали пронизывать одна другую взглядом, как змеи. В ее зрачках отражалась я, в моих – она. У меня замерло сердце, и закружилась голова от этого пристального взгляда. Но усилием воли я, наконец, оторвала глаза от чужих глаз, ногой толкнула зеркало, так что оно закачалось, жалостно колыхая призрак моей соперницы, и вышла из комнаты.

С этого часа и началась наша борьба. Вечером, в первый день нашей встречи, я не осмелилась приблизиться к новому трюмо, была с мужем в театре, преувеличенно смеялась и казалась веселой. На другой день, при ясном свете сентябрьского дня, я смело вошла в свой будуар одна и нарочно села прямо против зеркала. В то же мгновение та, другая, тоже вошла в дверь, идя мне навстречу, перешла комнату и тоже села против меня. Глаза наши встретились. Я в ее глазах прочла ненависть ко мне, она в моих – к ней. Начался

наш второй поединок, поединок глаз, Двух неотступных взоров, повелевающих, угрожающих, гипнотизирующих. Каждая из нас старалась завладеть волей соперницы, сломить ее сопротивление, заставить ее подчиняться своим хотениям. И страшно было бы со стороны увидеть двух женщин, неподвижно сидящих друг против друга, связанных магическим влиянием взора, почти теряющих сознание от психического напряжения... Вдруг меня позвали. Обаяние исчезло. Я встала, вышла.

После того поединки стали возобновляться каждый день. Я поняла, что эта авантюристка нарочно вторглась в мой дом, чтобы погубить меня и занять в нашем мире мое место.

Но отказаться от борьбы у меня не доставало сил. В этом соперничестве было какое-то скрытое упоение. В самой возможности поражения таился какой-то сладкий соблазн. Иногда я заставляла себя по целым дням не подходить к трюмо, занимала себя делами, развлечениями, – но в глубине моей души всегда таилась память о сопернице, которая терпеливо и самоуверенно ждала моего возвращения к ней. Я возвращалась, и она выступала передо мной, более торжествующая, чем прежде, пронизывала меня победным взором и приковывала меня к месту перед собой. Мое сердце останавливалось, и я, с бессильной яростью, чувствовала себя во власти этого взора...

Так проходили дни и недели; наша борьба длилась; но перевес все определеннее сказывался на стороне моей сопер-

ницы. И вдруг, однажды, я поняла, что моя воля подчинена ее воле, что она уже сильнее меня. Меня охватил ужас. Первым моим движением было – убежать из моего дома, уехать в другой город; но тотчас я увидела, что то было бы бесполезно: покорная притягательной силе вражеской воли, я все равно вернулась бы сюда, в эту комнату, к своему зеркалу. Тогда явилась вторая мысль – разбить зеркало, обратить мою соперницу в ничто; но победить ее грубым насилием значило признать ее превосходство над собой: это было бы унижительно. Я предпочла остаться, чтобы довести начатую борьбу до конца, хотя бы мне и грозило поражение.

Скоро уже не было сомнений, что моя соперница торжествует. С каждой встречей все больше и больше власти надо мной сосредоточивалось в ее взгляде. Понемногу я утратила возможность за день не подойти ни разу к моему зеркалу. Она приказывала мне ежедневно проводить перед собой по несколько часов. Она управляла моей волей, как магнетизер волей сомнамбулы. Она распоряжалась моей жизнью, как госпожа жизнью рабы. Я стала исполнять то, что она требовала, я стала автоматом ее молчаливых повелений. Я знала, что она обдуманно, осторожно, но неизбежным путем ведет меня к гибели, и уже не сопротивлялась. Я разгадала ее тайный план: вбросить меня в мир зеркала, а самой выйти из него в наш мир, – но у меня не было сил помешать ей. Мой муж, мои родные, видя, что я провожу целые часы, целые дни и целые ночи перед зеркалом, считали меня помешавшейся,

хотели лечить меня. А я не смела открыть им истины, мне было запрещено рассказать им всю страшную правду, весь ужас, к которому я шла.

Днем гибели оказался один из декабрьских дней, перед праздниками. Помню все ясно, все подробно, все отчетливо. ничего не спуталось в моих воспоминаниях. Я, по обыкновению, ушла в свой будуар рано, в самом начале зимних сумерек. Я поставила перед зеркалом мягкое кресло без спинки, села и отдалась ей. Она без замедления явилась на зов, тоже поставила кресло, тоже села и стала смотреть на меня. Темные предчувствия томили мою душу, но я не властна была опустить свое лицо и должна была принимать в себя наглый взгляд соперницы. Проходили часы, налегали тени. Никто из нас двух не зажег огня. Стекло слабо блестело в темноте. Изображения были уже едва видимы, но самоуверенные глаза смотрели с прежней силой. Я не чувствовала злобы или ужаса, как в другие дни, но только неутолимую тоску и горечь сознания, что я во власти другого. Время плыло, и я уплывала с ним в бесконечность, в черный простор бессилия и безволия.

Вдруг она, та, отраженная, – встала с кресла. Я вся задрожала от оскорбления. Но что-то непобедимое, что-то при- нуждавшее меня извне заставило встать и меня. Женщина в зеркале сделала шаг вперед. Я тоже. Женщина в зеркале простерла руки. Я тоже. Смотря все прямо на меня гипноти- зирующими и повелительными глазами, она все подвигалась

вперед, а я шла ей навстречу. И странно: при всем ужасе моего положения, при всей моей ненависти к моей сопернице, где-то в глубине моей души трепетало жуткое утешение, затаянная радость – войти, наконец, в этот таинственный мир, в который я всматривалась с детства, и который до сих пор оставался недоступным для меня. Мгновениями я почти не знала, кто кого влечет к себе: она меня, или я ее, она ли жаждет моего места, или я задумала всю эту борьбу, чтобы заместить ее.

Но когда, подвигаясь вперед, мои руки коснулись у стекла ее рук, я вся помертвела от омерзения. А она властно взяла меня за руки и уже силой повлекла к себе. Мои руки погрузились в зеркало, словно в огненно-студеную воду. Холод стекла проник в мое тело с ужасающей болью, словно все атомы моего существа переменяли свое взаимоотношение. Еще через мгновение я лицом коснулась лица моей соперницы, видела ее глаза перед самыми моими глазами, слилась с ней в чудовищном поцелуе. Все исчезло в мучительном страдании, несравнимом ни с чем, – и, очнувшись из этого обморока, я уже увидела перед собой свой будуар, на который смотрела из зеркала. Моя соперница стояла передо мной и хохотала. А я — о жестокость! – я, которая умирала от муки и унижения, я должна была смеяться тоже, повторяя все ее гримасы, торжествующим и радостным смехом. И не успела я еще осмыслить своего состояния, как моя соперница вдруг повернулась, пошла к дверям, исчезла из моих глаз,

и я вдруг впала в оцепенение, в небытие.

После этого началась моя жизнь как отражения. Странная, полусознательная, хотя тайно-сладостная жизнь. Нас было много в этом зеркале, темных душ, дремлющих сознаний. Мы не могли говорить одна с другой, но чувствовали близость, любили друг друга. Мы ничего не видели, слышали смутно, и наше бытие было подобно изнеможению от невозможности дышать. Только когда существо из мира людей подходило к зеркалу, мы, внезапно восприняв его облик, могли взглянуть в мир, различить голоса, вздохнуть всей грудью. Я думаю, что такова жизнь мертвых – неясное сознание своего «я», смутная память о прошлом и томительная жажда хотя бы на миг воплотиться вновь, увидеть, услышать, сказать... И каждый из нас таил и лелеял заветную мечту – освободиться, найти себе новое тело, уйти в мир постоянства и незыблемости.

Первые дни я чувствовала себя совершенно несчастной в своем новом положении. Я еще ничего не знала, ничего не умела. Покорно и бессмысленно принимала я образ моей соперницы, когда она приближалась к зеркалу и начинала насмехаться надо мной. А она делала это довольно часто. Ей доставляло великое наслаждение щеголять передо мной своей жизненностью, своей реальностью. Она садилась и заставляла сесть меня, вставала и ликовала, видя, что я встала, размахивала руками, танцевала, принуждала меня удваивать ее движения и хохотала, хохотала, чтобы хохотала и я. Она кри-

чала мне в лицо обидные слова, а я не могла отвечать ей. Она грозила мне кулаком и издевалась над моим обязательным повторным жестом. Она поворачивалась ко мне спиной, и я, теряя зрение, теряя лик, сознавала всю постыдность оставленного мне половинного существования... И потом, вдруг, она одним ударом перевертывала зеркало вокруг оси и с размаха бросала меня в полное небытие.

Однако понемногу оскорбления и унижения пробудили во мне сознание. Я поняла, что моя соперница теперь живет моей жизнью, пользуется моими туалетами, считается женой моего мужа, занимает в свете мое место. Чувство ненависти и жажда мести выросли тогда в моей душе, как два огненных цветка. Я стала горько клясть себя за то, что по слабости или по преступному любопытству дала победить себя. Я пришла к уверенности, что никогда эта авантюристка не восторжествовала бы надо мной, если бы я сама не помогала ей в ее кознях. И вот, освоившись несколько с условиями моего нового бытия, я решила повести с ней ту же борьбу, какую она вела со мной. Если она, тень, сумела занять место действительной женщины, неужели же я, человек, лишь временно ставший тенью, не буду сильнее призрака?

Я начала очень издалека. Сперва я стала притворяться, что насмешки моей соперницы мучат меня все нестерпимей. Я доставляла ей нарочно все наслаждения победы. Я дразнила в ней тайные инстинкты палача, прикидываясь изнемогающей жертвой. Она поддалась на эту приманку. Она увлек-

лась этой игрой со мной. Она расточала свое воображение, выдумывая новые пытки для меня. Она изобретала тысячи хитростей, чтобы еще и еще раз показать мне, что я – лишь отражение, что своей жизни у меня нет. То она играла передо мной на рояли, муча меня беззвучностью моего мира. То она, сидя перед зеркалом, глотала маленькими глотками мои любимые ликеры, заставляя меня только делать вид, что я тоже их пью. То, наконец, приводила в мой будуар людей мне ненавистных и перед моим лицом отдавала им целовать свое тело, позволяя им думать, что они целуют меня. И после, оставшись наедине со мной, она хохотала злорадным и торжествующим смехом. Но этот хохот уже не уязвлял меня; на его острие была сладость: мое ожидание мести!

Незаметно, в часы ее надругательств надо мной, я приучала мою соперницу смотреть мне в глаза, овладевала постепенно ее взором. Скоро по своей воле я уже могла заставлять ее поднимать и опускать веки, делать то или иное движение лицом. Торжествовать уже начинала я, хотя и скрывала свое чувство под личиной страдания. Сила души возрастала во мне, и я осмеливалась приказывать моему врагу: сегодня ты сделаешь то-то, сегодня ты поедешь туда-то, завтра придешь ко мне тогда-то. И она исполняла! Я опутывала ее душу сетями своих хотений, сплетала твердую нить, на которой держала ее волю, ликовала втайне, отмечая свои успехи. Когда она однажды, в час своего хохота, вдруг уловила на моих губах победную усмешку, которой я не могла скрыть, было уже

поздно. О нас яростью выбежала тогда из комнаты, но я, впадая в сон своего небытия, знала, что она вернется, знала, что она подчинится мне! И восторг победы реял над моим безвольным бессилием, радужным веером прорезал мрак моей мнимой смерти.

Она вернулась! Она пришла ко мне в гневе и страхе, кричала на меня, грозила мне. А я ей приказывала. И она должна была повиноваться. Началась игра кошки с мышью. В любой час я могла вбросить ее вновь в глубь стекла и выйти вновь в звонкую и твердую действительность. Она знала, что это – в моей воле, и такое сознание мучило ее вдвое. Но я медлила. Мне было сладостно нежиться порой в небытии. Мне было сладостно упиваться возможностью. Наконец (это странно, не правда ли?), во мне вдруг пробудилась жалость к моей сопернице, к моему врагу, к моему палачу. Все же в ней было что-то мое, и мне страшно было вырвать ее из яви жизни и обратить в призрак. Я колебалась и не смела, я давала отсрочки день за днем, я сама не знала, чего я хочу, и что меня ужасает.

И вдруг, в ясный весенний день, в будуар вошли люди с досками и топорами. Во мне не было жизни, я лежала в сладострастном оцепенении, но, не видя, поняла, что они здесь. Люди стали хлопотать около зеркала, которое было моей вселенной. И одна за другой души, населявшие ее вместе со мной, пробуждались и принимали призрачную плоть в форме отражений. Страшное беспокойство заколебало мою сон-

ную душу. Предчувствуя ужас, предчувствуя уже непоправимую гибель, я собрала всю мощь своей воли. Каких усилий стоило мне бороться с истомой полубытия! Так живые люди борются иногда с кошмаром, вырываясь из его душащих уз к действительности.

Я сосредоточивала все силы своего внушения на зове, устремленном к ней, к моей сопернице: «Приди сюда!» Я гипнотизировала, магнетизировала ее всем напряжением своей полусонной воли. А времени было мало. Зеркало уже качали. Уже готовились забивать его в дощатый гроб, чтобы везти: куда – неизвестно. И вот, почти в смертельном порыве, я позвала вновь и вновь: «Приди!...» И вдруг почувствовала, что оживаю. Она, мой враг, отворила дверь и, бледная, полумертвая, шла навстречу мне, на мой зов, упирающимися шагами, как идут на казнь. Я схватила в свои глаза ее глаза, связала свой взор с ее взором и после этого уже знала, что победа за мной.

Я тотчас заставила ее выслать людей из комнаты. Она подчинилась, не сделав даже попытки сопротивляться. Мы вновь были вдвоем. Медлить было больше нельзя. Да и не могла я простить ей коварства. На ее месте, в свое время, я поступала иначе. Теперь я безжалостно приказала ей идти мне навстречу. Стон муки открывал ее губы, глаза расширились, как перед призраком, но она шла, шатаясь, падая, – шла. Я тоже шла навстречу ей, с губами, искривленными торжеством, с глазами, широко открытыми от радости,

шатаясь от пьянящего восторга. Снова соприкоснулись наши руки, снова сблизились наши губы, и мы упали одна в другую, сжигаемые невыразимой болью перевоплощения. Через миг я была уже перед зеркалом, грудь моя наполнилась воздухом, я вскрикнула громко и победно и упала здесь же, перед трюмо, ниц от изнеможения.

Ко мне вбежали мой муж, люди. Я только могла проговорить, чтобы исполнили мой прежний приказ, чтобы унесли из дому, прочь, совсем, это зеркало. Это было умно придумано, не правда ли? Ведь та, другая, могла воспользоваться моей слабостью в первые минуты моего возвращения к жизни и отчаянным натиском попытаться вырвать у меня из рук победу. Отсылая зеркало из дому, я на долгое, на любое время обеспечивала себе спокойствие, а соперница моя заслуживала такое наказание за свое коварство. Я ее поражала ее собственным оружием, клинком, который она сама подняла на меня.

Отдав приказание, я лишилась чувств. Меня уложили в постель. Позвали врача. Со мной сделалась от всего пережитого нервная горячка. Близкие уже давно считали меня больной, ненормальной. В первом порыве ликования я не остереглась и рассказала им все, что со мной было. Мои рассказы только подтвердили их подозрения. Меня перевезли в психиатрическую лечебницу, где я нахожусь и теперь. Все мое существо, я согласна, еще глубоко потрясено. Но я не хочу оставаться здесь. Я жажду вернуться к радостям жизни, ко

всем бесчисленным утехам, которые доступны живому человеку. Слишком долго я была лишена их.

Кроме того, – сказать ли? – у меня есть одно дело, которое мне необходимо совершить как можно скорее. Я не должна сомневаться, что я это – я. И все же, когда я начинаю думать о той, заточенной в моем зеркале, меня начинает охватывать странное колебание: а что, если подлинная я – там? Тогда я сама, я, думающая это, я, которая пишу это, я – тень, я – призрак, я – отражение. В меня лишь перелились воспоминания, мысли и чувства той, другой меня, той, настоящей. А в действительности я брошена в глубине зеркала в небытие, томлюсь, изнемогая, умираю. Я знаю, я почти знаю, что это неправда. Но, чтобы рассеять последние облачка сомнений, я должна вновь, еще раз, в последний раз, увидеть то зеркало. Мне надо посмотреть в него еще раз, чтобы убедиться, что там – самозванка, мой враг, игравший мою роль в течение нескольких месяцев. Я увижу это, и все смятение моей души минет, и я буду вновь беспечной, ясной, счастливой. Где это зеркало, где я его найду? Я должна, я должна еще раз заглянуть в его глубь!..

В подземной тюрьме ПО ИТАЛЬЯНСКОЙ РУКОПИСИ НАЧАЛА XVI ВЕКА

I

Султан Магомет II Завоеватель, покоритель двух империй, четырнадцати королевств и двухсот городов, поклялся, что будет кормить своего коня овсом на алтаре святого Петра в Риме. Великий визирь султана, Ахмет-паша, переплыв с сильным войском через пролив, обложил город Отранто с суши и с моря и взял его приступом 26 июня, в год от воплощения Слова 1480. Победители не знали удержу своим неистовства м: пилой перепилили начальника войск, мессера Франческо Ларго, множество жителей из числа способных носить оружие перебили, архиепископа, священников и монахов подвергали всяческим унижениям в храмах, а благородных дам и девушек лишали насилием чести.

Дочь Франческо Ларго, красавицу Джулию, пожелал взять в свой гарем сам великий визирь. Но не согласилась гордая неаполитанка стать наложницей нехристя. Она встретила турка, при первом его посещении, такими оскорблениями, что он распалился против нее страшным гневом. Разуме-

ется, Ахмет-паша мог бы силой одолеть сопротивление слабой девушки, но предпочел отомстить ей более жестоко и приказал бросить ее в городскую подземную тюрьму. В тюрьму эту неаполитанские правители бросали только отъявленных убийц и самых черных злодеев, которым хотели найти наказание злее смерти.

Джулию, связанную по рукам и ногам толстыми веревками, принесли к тюрьме в закрытых носилках, так как даже турки не могли не оказывать ей некоторого почета, подобавшего по ее рождению и положению. По узкой и грязной лестнице ее стащили в глубину тюрьмы и приковали железной цепью к стене. На Джулии осталось роскошное платье из лионского шелка, но все драгоценности, бывшие на ней, сорвали: золотые кольца и браслеты, жемчужную диадему и алмазные серьги. Кто-то снял с нее и сафьянные восточные башмаки, так что Джулия оказалась босой.

II

Тюрьма была выкопана в земле, под главной башней городской стены. Два небольших окна, забранных толстой железной решеткой и приходившихся у самого потолка, лишь крайнюю свою часть подымались над поверхностью земли. Они пропускали лишь столько света, чтобы в тюрьме не стоял вечный мрак и чтобы привыкшие к темноте глаза заключенных могли различать друг друга. В каменные стены были вделаны крепкие крюки с цепями и железными поясами. Эти пояса надевались на узников и запирались наглухо замком.

В тюрьме было шестеро заключенных. Турки никого из них не захотели освободить, так как всегда любили соблюдать обычаи той страны, которую завоевали. Джулию приковали между старухой Ванощой, осужденной за колдовство и сношения с дьяволом, и бледным юношей Марко, брошенным сюда уже во время осады, за участие в заговоре против правителя города.

Джулия первые часы заключения лежала, как мертвая. Она была потрясена всем происшедшим с ней и задыхалась в душном и смрадном воздухе тюрьмы. Она ждала с ми нуты на минуту, что жизнь покинет ее.

Но узники, которые еще ничего не знали о взятии города, наперерыв обсуждали все, что пришлось им увидеть. Сначала они долго спорили, почему в их яме появились турки. По-

том стали говорить о Джулии, разбирая ее внешность: лицо, одежду и делая предположения, кто она и что привело ее в этот ад.

– Красивая девка, – сказал Лоренцо, старый разбойник, прикованный на противоположном от Джулии конце тюрьмы, – жаль, я далеко! Не плошай, Марко!

– Это – знатная птица, не нам чета! – сказала старуха Ваноща. – Какое на ней платье-то! По золотому отдашь за локоть такой материи.

– Голову бы я ей размозжил, будь поближе, – сказал Козимо из своего темного угла, – она из тех, кто одевается в шелк, когда мы голодаем!

Мария-болящая, которая давно была почти одним скелетом и у которой прежний тюремщик каждый день спрашивал, скоро ли она помрет, пожалела Джулию:

– Ох, трудно ей придется, с пуховых подушек да на голую землю, от княжеских яств да на хлеб, на воду!

А пророк Филиппе, беглый монах, сидевший в тюрьме более двадцати лет и весь обросший волосами, угрожал страшным голосом:

– Приблизилось, приблизилось время! Се предан мир неверным, да попрут веселившихся и гордых, чтобы после возвеселились малые и убогие! Радуйтесь!

Только один Марко молчал. Впрочем, как заключенного недавно, узники еще не считали его вполне своим.

III

Понемногу Джулия пришла в себя. Но она не открывала глаз и не двигалась. Она слушала речи о себе и едва понимала слова. Потом совсем стемнело, и узники один за другим заснули. Со всех сторон послышался громкий храп. Только тогда Джулия решилась плакать и рыдала до первого света.

Утром рано в тюрьму спустились новые тюремщики. То были двое турок: главный – постарше, и помощник его – помоложе. Они принялись, как то делали, прежде их предшественники, убирать тюрьму. Помощник лопатой сгребал нечистоты, скопившиеся за день, а главный раскладывал перед узниками куски заплесневелого хлеба и наливал воды в глиняные кружки.

Узники сначала не решались промолвить ни слова, потом отважились расспрашивать, что случилось и почему их не выпустят на волю, если правители в городе сменились. Но турки не понимали по-итальянски.

Подойдя к Джулии, главный тюремщик соблазнился ее красотой и молодостью. Отложив в сторону мешок с хлебом, он стал что-то говорить ей приветливо и хотел обнять ее. Но Джулия, забыв о своем положении, не вынесла такого оскорбления и ударила его по лицу.

Тогда турок пришел в ярость, схватил бывший с ним бич и стал жестоко хлестать ее. Потом тут же, под хохот и веселые

вскрики всей тюрьмы, изнасиловал ее.

Так девственность красавицы Джулии Ларго, отказавшей в своей благосклонности великому визирю султана, – досталась простому турку, который никогда и в глаза не мог увидеть женщин из гарема паши.

IV

Потекли дни тюремной жизни.

Джулия мало-помалу привыкла к страшной обстановке, к смрадному воздуху, к твердому хлебу, к ржавой воде. Привыкла переносить такое, о чем раньше не могла бы помыслить без крайнего стыда. Она безмолвно принимала ежедневные ласки тюремщика, а порой и его побои. Она решалась, как все другие узники, совершать на виду у всех, что между людьми принято скрывать.

Узники были прикованы на таком расстоянии, что лишь с трудом могли дотянуться друг до друга. Длина цепи позволяла им сидеть, но встать на ноги они не могли. Несмотря на то, узники придумали себе целый ряд развлечений. Лоренцо и Козимо устроили кости и играли в них целые дни – на хлеб и воду; случалось, что проигравший дней по пяти оставался голодным. В игре часто принимала участие и Ваноща. Козимо забавлялся еще тем, что бросал в сотоварищей землей и камнями. Этим он всегда приводил в ярость Филиппе, который тогда рычал, как бык, и так рвался на цепи, что стены дрожали. В другие дни Филиппе усердно тесал около себя в стене Распятие. Бывало, что между узниками подымался длинный разговор, переходивший в жестокую ругань. А иногда несколько суток никто не хотел вымолвить слова: все лежали в своих углах, в злобе и отчаянии.

Джулия оставалась одинокой среди заключенных. Она не отвечала на вопросы и словно не слышала брани, которой ее осыпали. Она никому не говорила, кто она, и это оставалось тайной для всех обитателей тюрьмы. Она проводила дни в молчаливых раздумиях, не плача, не жалуясь.

Только со своей соседкой, старухой Ванощой, обменивалась она порой несколькими словами. Ваноща, которая была в тюрьме уже много лет, дала Джулии несколько дельных советов. Указала ей, что надо время от времени садиться на корточки, чтобы ноги не затекали. Показала, как сделать, чтобы железный пояс не слишком тер тело. Посоветовала выплескивать под утро из кружки остатки воды, чтобы она не загнивала. Джулия не могла не признать пользы этих советов и из благодарности откликнулась на голос Ванощы.

Однажды Джулия нечаянно толкнула свою кружку и пролила всю воду. Водой узники особенно дорожили, потому что стояло лето, и в тюрьме было очень жарко. Джулия томилась от жажды, но не показывала виду.

Марко, прикованный рядом, подвинул ей свою кружку.

– Ты хочешь пить, – сказал он, – прошу тебя, возьми мою воду.

Джулия посмотрела на Марко. Ей показались прекрасными его черные глаза и бледные щеки.

Она сказала:

– Благодарю тебя.

Ржавая вода была в тот день очень вкусной.

V

С этого дня Джулия стала разговаривать с Марко. Сначала их разговор был отрывочным. Понемногу они стали говорить все больше и больше. А еще после стали проводить в беседах целые дни.

Джулия рассказывала об убранных и веселой жизни дворцов: о сводчатых галереях и мозаичных полах, о мебели из драгоценного дерева и люстрах из венецианского стекла, о садах с искусственными водопадами и фонтанами, о платьях, шитых золотом и жемчугами, о празднествах, торжественных обедах, балах с танцами, маскарадах в садах, увешанных фонариками, с иллюминациями, и об увеселительных охотах в лесах; о театральные представлениях и об игре на спинете, цитре, флейте и лютне; рассказывала о произведениях искусства, о пряжках, браслетах, диадемах – работы лучших ювелиров, о тонких изящных медалях, о статуях древних и новых ваятелей, о дивных картинах великих новых художников, изображающих и события священной истории, и сцены из римских басен о богах, и картины из теперешней жизни; рассказывала все, что приходилось ей читать в книгах Филельфо, Понтано, Панорамито, Альберти и других современных писателей; повторяла новеллы Поджо и Боккаччо или декламировала стихи Петрарки.

Марко в ответ говорил о красивых раковинах, которые он

собирал в море, о дивных пестрых рыбах, которые попадались в его сети, о крабах, ходящих боком, и безобразных тритонах; вспоминал о ночных ловлях при свете смоляных факелов, о гонках лодок, о лазурных гротах, о страшных бурях на море; описывал жизнь в Сицилии и Африке, в странах, где живут чернокожие люди, слоны и верблюды; передавал рассказы о странствиях морехода Синдбада, принявшего однажды спину морского чудовища за остров, побывавшего в странах, где есть люди без головы, охотившегося дальше Лунных гор за птицей Рохом; мечтал о морских сиренах, что по ночам играют на златострунных лирах и заманивают к себе молодых рыбаков, чтобы потопить их, о саламандрах, которые незримо таятся в воздухе кругом нас, и могут быть видимы только в огне, проходя через который воспламеняются, о древних титанах, лежащих под Везувием и дышащих черным дымом, о жизни на солнце и на звездах, о говорящих цветах и о девушках с крыльями, как у бабочек.

Лишь об одном никогда не говорили Джулия и Марко: о своем настоящем и о своем будущем, о том, как шли дни в их тюрьме, и что их ожидало.

Другие узники сначала насмехались, слушая их разговоры, а потом перестали обращать на них внимание.

VI

Узнав друг друга, Джулия и Марко стали опять стыдиться. И они вновь начали таить то, что люди скрывают от чужих глаз.

Однажды утром тюремщик еще раз обратил внимание на Джулию, хотя, истощенная голодом, отсутствием воздуха и болезнью, она уже вовсе не могла считаться особенно красивой. Турок сел около нее и, смеясь, хотел опять обнять ее, как делал это в первые дни ее заключения. Но Марко сзади схватил его за плечи, опрокинул наземь и едва не разбил ему голову своей цепью.

Подоспевший помощник легко, конечно, справился с юношей, обессилевшим от долгого заключения. Оба турка повалили Марко и стали его хлестать нещадно бичом. Они били его поочередно, пока окончательно не опустили у них руки от усталости. Наконец, произнося угрозы и ругательства, они удалились, оставив Марко в луже крови.

Вся тюрьма безмолвствовала. Никто не знал, какие слова можно произнести.

Джулия, сколько позволяла ей цепь, приблизилась к Марко, омыла ему раны и намочила водой голову.

Марко открыл глаза и сказал:

– Я в раю.

Джулия поцеловала его в плечо, потому что не могла до-

тянуться до его губ, и сказала ему:

– Я люблю тебя, Марко. Ты – светлый.

Все думали, что турок на другой день убьет Марко. Но почему-то наутро пришли убирать тюрьму два новых тюремщика: оба угрюмых и не обращавших никакого внимания на узников. Побоялись ли старые мести или их сменили, это осталось в тюрьме тайной.

VII

Марко прохворал несколько недель, и Джулия ухаживала за ним, как могла. А когда Марко оправился, захворала Джулия.

Раз, вечером, она начала громко стонать, потому что не могла преодолеть боли. Старуха Ваноща поняла, в чем дело, и велела ей подвинуться ближе.

К утру у Джулии родился мертвый ребенок.

– Жаль, что мертвый, – сказал Лоренцо, – славный был бы головорез! Редко кому выпадает такая удача: в тюрьме родиться.

Козимо обругал Ванощу, зачем она помогала Джулии.

– Небось, она женщина, – сказала в ответ Мария-болящая.

Утром пришли тюремщики-турки, сгребли маленький некрещеный трупик вместе с нечистотами и унесли куда-то.

VIII

Несколько дней спустя Джулия сказала Марко, ночью, когда все спали:

– Марко! Ты должен презирать меня. Я —погибшая. Ты — первый, кого полюбила я. И я не могу отдать тебе чистоты своего тела. Меня, против моей воли, загрязнили. Я недостойна тебя, хотя и не согрешила пред тобой. Ах, если бы я встретила тебя в былые дни, и ты бы первый увидел мою грудь, на которую не смотрел ни один мужчина! Тогда не было бы ласк, которых я не нашла бы в своем существе и которых не расточила бы тебе со всей щедростью любви и страсти! Но теперь оставь меня, Марко, и не позволяй себе думать обо мне, как о женщине. Если мне невозможно принести тебе, как приданое, ту единственную истинную драгоценность, какой может владеть девушка: честное имя, — я не хочу, чтобы ты стыдился своего выбора. Я буду любить тебя вечно, но ты не должен любить меня. Пока праведный гнев господень держит нас в этом аду, позволь мне иногда смотреть тебе в лицо, чтобы я могла преодолевать искушение смертного греха — самоубийства. Когда же заступничество Пречистой Девы Марии возвратит нам свободу, вспоминай, хотя изредка, о той душе, для которой ты навсегда останешься сиянием. А я в келье монастырской не устану воссылать молитвы и за тебя.

Но Марко отвечал ей:

– Джулия! Ты – светлый ангел надо мной. Я никогда не видел, ни наяву, ни в грезах, ничего прекраснее, чем твой образ. Ты заставила меня вновь поверить в милосердного бога и его благоуханный рай. Если там, среди высоких лилий, такие, как ты, – стоит терпеть мучения на этой земле. Мысль о тебе ослепляет меня синим огнем, как молния. Когда руки твои касаются меня, я дрожу: это – уголь, горящий, но сладостный. Твой голос – как свирель на росистом лугу или как роптание чуть пенистой волны около каменистого побережья. Целовать то место на земле, которого ты касалась, высший из моих помыслов. Ты непорочна, ты безгрешна по существу; грех ниже тебя, и ты всегда над ним, как хрустальное небо всегда над облаками. Госпожа моя, не лишай меня радуги взоров твоих!

Тогда Джулия стала на колени и сказала ему:

– Марко! возлюбленный мой! возьмешь ли ты меня как свою жену?

Тогда Марко стал на колени и сказал ей:

– Девушка! Пред лицом господина бога, видящего все, беру тебя как свою жену, обручаюсь с тобой и сочетаюсь союзом, который человек нарушить не властен.

Так сочетались они браком, ночью, когда все спали, стоя на коленях друг перед другом.

IX

Христианские государи не могли, конечно, терпеть спокойно, что неверные утверждают в стране, где постоянно пребывает наместник Христа. Альфонс, герцог Калабрийский, сын тогдашнего короля Неаполитанского, собрал сильное войско, чтобы изгнать турок из Италии и возвратить Неаполю город Отранто. Папа Сикст IV, перечекавив в монету свою посуду и много церковной утвари, снарядил на помощь Альфонсу пятнадцать галер. Также послали вспомогательные отряды арагонцы и венгры.

Мужество и доблесть христиан сломили упорство неверных, которые к тому же пали духом, прослышав о смерти султана Магомета, который покончил свою неистовую жизнь в мае месяце, в год 1481. Мусульмане бежали из Италии, и неаполитанцы заняли вновь достославный город Отранто.

Среди военачальников христианского войска находился брат несчастного Фернандо Ларго Пиетро, и он поспешил разыскать свою племянницу. Джулию вывели из подземной тюрьмы. Она не могла стоять на ослабших ногах, и свет солнца слепил ее невыносимо. Те же, кто видел ее худобу и бледность, не могли удержаться от слез. Ловкие служанки омыли ее в ароматной купальне, расчесали ей волосы, облекли ее в легкие, нежные ткани.

Джулия была как безумная и едва могла отвечать на во-

просы. На другой день после освобождения с ней сделался приступ болезни, и она несколько недель была близка к смерти. В бреду представлялось ей, что она уже умерла и осуждена на вечные мучения в преисподней и что дьяволы всячески терзают и позорят ее тело. Она не узнавала никого из родных, и все приближавшиеся к ней внушали ей ужас и отвращение.

Когда понемногу, благодаря искусству врачей и заботам родственников, она стала поправляться, все прошлое, весь страшный год, проведенный в подземной тюрьме, стал ей казаться одним из видений ее горячечного бреда. При ней никто не решался говорить о месяцах ее плена, и она сама старалась не возвращаться к ним даже в мыслях.

X

Выздоровев совершенно, Джулия переехала в Неаполь и поселилась у одного из своих дядей. Ныне уже покойный, король Фернандо, в память мученической смерти ее отца при исполнении своего долга, пожаловал ей годовое содержание в 1000 дукатов. Кроме того, ей перешли, в полное обладание, замки и земли ее отца. Красота Джулии расцвела с такой пышностью, как никогда прежде. Все дивились ей на придворных празднествах, а так как она была невестой богатой, то и не было недостатка в искателях ее руки из числа молодых людей наиболее достойных и благородных.

Однажды Джулия со служанками проходила по набережной, там, где воздвигнуты новые замечательные здания Неаполя. Внезапно, среди небольшой кучки рыбаков, стоявших у лодки, она признала Марко. Он был одет как моряк, в куртку с позументами и красный колпак.

Джулии вдруг стало печально и томительно, словно злой волшебник пригрозил ей своим магическим жезлом. Она хотела сделать вид, что не заметила Марко, но было ясно, что он ее видел и узнал. Тогда Джулия послала к Марко одну из служанок, чтобы приказать ему прийти к ней сегодня вечером. Видно было, как Марко усмехнулся и кивнул головой в знак согласия.

Весь тот день Джулия не знала покоя. Вечером пришел

Марко, молодой, свежий, окрепший, смелый. Джулия приняла его в своей комнате. С ней была ее подруга, монна Лукреция, и две близких служанки. На Джулии было шитое золотом бархатное платье с прорезными рукавами, на шею жемчужное ожерелье и на лбу алмазная фероньерка. Она сидела в высоком кресле флорентийской работы.

Марко поклонился почтительно, как подобало простому рыбаку перед знатной синьорой.

Некоторое время Джулия не знала, как говорить с ним; потом спросила:

– Скажи мне, друг, чем ты занимаешься?

Марко поднял на нее черные глаза, опять усмехнулся так же, как утром на пристани, и ответил:

– Я, синьора, рыбак, промышляю рыбой, а иногда вожу товары из Отранто в Неаполь.

– И ты доволен своим положением? – спросила Джулия.

– Мне большего не надо, чтобы жить и любоваться золотым солнцем и голубыми волнами, – отвечал Марко, и голос его зазвенел так нежно, как в часы их длинных разговоров в темнице.

Но Джулия уже овладела своим сердцем и сказала:

– Я прикажу дать тебе на мой счет новую барку, чтобы ты мог начать собственную торговлю.

Марко наклонил голову.

– Благодарю вас, синьора, я не хочу вас обидеть отказом. Позвольте только мне в память о вас назвать эту барку ва-

шим именем.

После этих слов Марко опять вежливо поклонился и попросил позволения удалиться. Когда же он вышел, Джулия сказала монне Лукреции:

– Я знаю, что этот человек участвовал в заговоре против моего отца. Но так как он, подобно мне, пережил взятие нашего города, то я не могу быть к нему строгой. Я действительно прикажу снарядить для него барку, но попрошу, чтобы ему запретили появляться в Неаполе. Пусть ведет свои дела где-нибудь у Тарента.

Мраморная головка

РАССКАЗ БРОДЯГИ

Его судили за кражу и приговорили на год в тюрьму. Меня поразило и то, как этот старик держал себя на суде, и самая обстановка преступления. Я добился свидания с осужденным. Сначала он дичился меня, отмалчивался, наконец, рассказал мне свою жизнь.

– Вы правы, – начал он, – я видал лучшие дни, не всегда был уличным горемыкой, не всегда засыпал в ночлежных домах. Я получил образование, я техник. У меня в юности были кое-какие деньжонки, я жил шумно: каждый день на вечере, на балу, и все кончалось попойкой. Это время я помню хорошо, до мелочей помню. Но есть в моих воспоминаниях пробел, и, чтобы заполнить его, я готов отдать весь остаток моих дряхлых дней: это-все, что относится к Нине.

Ее звали Ниной, милостивый государь, да, Ниной, я убежден в этом. Она была замужем за мелким чиновником на железной дороге. Они бедствовали. Но как она умела в этой жалкой обстановке быть изящной и как-то особенно утонченной! Она сама стряпала, но ее руки были как выточенные. Из своих дешевых платьев она создавала чудесный бред. Да и все повседневное, соприкасаясь с ней, становилось фантастическим. Я сам, встречаясь с ней, делался иным, лучшим,

стряхивал с себя, как дождь, всю житейскую пошлость.

Бог простит ей грех, что она любила меня. Кругом было все так грубо, что она не могла не полюбить меня, молодого, красивого, знавшего столько стихов наизусть. Но где я с ней познакомился и как – этого я уже не могу восстановить в своей памяти. Вырываются из мрака отдельные картины. Вот мы в театре. Она, счастливая, веселая (ей это выпадало так редко!), впивает каждое слово пьесы, улыбается мне... Ее улыбку я помню. Потом вот мы вдвоем где-то. Она наклонила голову и говорит мне: «Я знаю, что ты – мое счастье ненадолго; пусть, – все-таки я жила». Эти слова я помню. Но что было тотчас после, да и правда ли, что все это было с Ниной? Не знаю.

Конечно, я первый бросил ее. Мне казалось это так естественно. Все мои товарищи поступали так же: заводили интригу с замужней женщиной и, по прошествии некоторого времени, бросали ее. Я только поступил, как все, и мне даже на ум не приходило, что мой поступок дурен. Украсть деньги, не заплатить долг, сделать донос-это дурно, но бросить любовницу – только в порядке вещей. Передо мной была блестящая будущность, и я не мог связывать себя какой-то романтической любовью. Мне было больно, очень больно, но я пересилил себя и даже видел подвиг в том, что решился перенести эту боль.

Я слышал, что Нина после того уехала с мужем на юг и вскоре умерла. Но так как воспоминания о Нине все же были

мне мучительны, я избегал тогда всяких вестей об ней. Я старался ничего не знать про нее и не думать об ней. У меня не осталось ее портрета, ее письма я ей возвратил, общих знакомых у нас не было – и вот постепенно образ Нины стерся в моей душе. Понимаете? – я понемногу пришел к тому, что забыл Нину, забыл совершенно, ее лицо, ее имя, всю нашу любовь. Стало так, как если бы ее совершенно не существовало в моей жизни... Ах, есть что-то постыдное для человека в этой способности забывать! Шли годы. Уж не буду вам рассказывать, как я «делал карьеру». Без Нины, конечно, я мечтал только о внешнем успехе, о деньгах. Одно время я почти достиг своей цели, мог тратить тысячи, жывал по заграницам, женился, имел детей. Потом все пошло на убыль; дела, которые я затеивал, не удавались; жена умерла; побившись с детьми, я их рассовал по родственникам и теперь, прости мне господи, даже не знаю, живы ли мои мальчишки. Разумеется, я пил и играл... Основал, было, я одну контору – не удалось, загубил на ней последние деньги и силы. Попытался поправить дела игрой и чуть не попал в тюрьму – да и не совсем без основания... Знакомые от меня отвернулись, и началось мое падение.

Понемногу дошел я до того, чем вы меня ныне видите. Я, так сказать, «выбыл» из интеллигентного общества и опустился на дно. На какое место мог я претендовать, одетый плохо, почти всегда пьяный? Последние годы служил я месяцами, когда не пил, на заводах рабочим. А когда пил, –

попадал на Хитров рынок и в ночлежки. Озлобился я на людей страшно и все мечтал, что вдруг судьба переменится, и я буду опять богат. Наследства какого-то несуществующего ждал или чего-то подобного. Своих новых товарищей за то и презирал, что у них этой надежды не было.

Так вот однажды, продрогший и голодный, брожу я по какому-то двору, уж сам не знаю зачем, случай привел. Вдруг повар кричит мне: «Эй, любезный, ты не слесарь ли?» – «Слесарь», – отвечаю. Позвали меня замок в письменном столе исправить. Попал я в роскошный кабинет, везде позолота, картины. Поработал я, сделал, что надо, и выносит мне барыня рубль. Я беру деньги и вдруг вижу, на белой колонке, мраморную головку. Сначала обмер, сам не зная почему, всматриваюсь и верить не могу: Нина!

Говорю вам, милостивый государь, что Нину я забыл совсем и тут-то именно впервые это и понял: понял, что забыл ее. Вдруг выплыл предо мной ее образ, и целая вселенная чувств, мечтаний, мыслей, которая погребена была в моей душе, словно какая-то Атлантида, – пробудилась, воскресла, ожила... Смотрю я на мраморный бюст, сам дрожу и спрашиваю: «Позвольте узнать, сударыня, что это за головка?» – «А это, – отвечает она, – очень дорогая вещь, пятьсот лет назад сделана, в XV веке». Имя художника назвала, я не разобрал, сказала, что муж вывез эту головку из Италии, и что через то целая дипломатическая переписка возникла между итальянским и русским кабинетами. «А что, – спрашивает

меня барыня, – или вам понравилось? Какой у вас, однако, современный вкус! Ведь уши, – говорит, – не на месте, нос неправилен...» – и пошла! и пошла!

Выбежал я оттуда как в чаду. Это не сходство было, а просто портрет, даже больше – какое-то воссоздание жизни в мраморе. Скажите мне, каким чудом художник в XV столетии мог сделать те самые маленькие, криво посаженные уши, которые я так знал, те самые чуть-чуть раскосые глаза, неправильный нос и длинный наклоненный лоб, из чего неожиданно получалось самое прекрасное, самое пленительное женское лицо? Каким чудом две одинаковые женщины могли жить – одна в XV веке, другая в наши дни? А что та, с которой делалась головка, была именно одинакова, тождественна с Ниной, не только лицом, но и характером, и душой, я не мог сомневаться.

Этот день изменил всю мою жизнь. Я понял и всю низость своего поведения в прошлом, и всю глубину своего падения. Я понял Нину как ангела, посланного мне судьбой, которого я не признал. Вернуть прошлое невозможно. Но я с жадностью стал собирать воспоминания о Нине, как подбирают черепки от разбившейся драгоценной вазы. Как мало их было! Сколько я ни старался, я не мог составить ничего целого. Все были осколки, обломки. Но как ликовал я, когда мне удавалось обрести в своей душе что-нибудь новое. Задумавшись и вспоминая, я проводил целые часы; надо мной смеялись, а я был счастлив. Я стар, мне поздно начинать жизнь сызнова,

но я еще могу очистить свою душу от пошлых дум, от злобы на людей и от ропота на создателя. В воспоминаниях о Нине я находил это очищение.

Страстно мне хотелось посмотреть на статую еще раз. Я бродил целые вечера около дома, где она стояла, стараясь увидеть мраморную головку, но она была далеко от окон. Я простаивал ночи перед домом. Я узнал всех живущих в нем, расположение комнат, завел знакомство с прислугой. Летом владельцы уехали на дачу. И я уже не мог более бороться с своим желанием. Мне казалось, что, взглянув еще раз на мраморную Нину, я сразу вспомню все, до конца. Это было бы для меня последним блаженством. И я решился на то, за что меня судили. Вы знаете, что мне не удалось. Меня схватили еще в передней. На суде выяснилось, что я был в комнатах под видом слесаря, что меня не раз замечали подле дома... Я был нищий, я взломал замки... Впрочем, история кончена, милостивый государь!

– Но мы подадим апелляцию, – сказал я, – вас оправдают.

– К чему? – возразил старик. – Никого мое осуждение не опечалит и не обесчестит, а не все ли равно, где я буду думать о Нине – в ночлежном доме или в тюрьме?

Я не нашелся, что ответить, но старик вдруг поднял на меня свои странные выцветшие глаза и продолжал:

– Одно меня смущает. Что, если Нины никогда не было, а мой бедный ум, ослабев от алкоголя, выдумал всю историю этой любви, когда я смотрел на мраморную головку?

Под Старым мостом

*...Тогда густеет ночь, как хаос на водах,
Беспамятство, как Атлас, давит душу...
Лишь музы – девственную душу...
В пророческих тревожат полуснах.*

Тютчев

Антонио был молод и горд. Он не хотел подчиняться своему старшему брату, Марко, хотя тот и должен был со временем стать правителем всего королевства. Тогда разгневанный старый король изгнал Антонио из государства, как мятежника.

Антонио мог бы укрыться у своих влиятельных друзей и переждать время отцовской немилости или удалиться за море к родственникам своей матери, но гордость не позволяла ему этого. Переодевшись в скромное платье и не взяв с собой ни драгоценностей, ни денег, Антонио незаметно вышел из дворца и вмешался в толпу.

Столица была городом торговым, приморским; ее улицы всегда кипели народом, но Антонио недолго бродил бесцельно: он вспомнил, что теперь должен сам зарабатывать себе пропитание. Чтобы не быть узнанным, он решился избрать самый черный труд, пошел на пристань и просил носильщиков принять его товарищем. Те согласились, и Антонио тотчас же принялся за работу. До вечера таскал он ящики и тю-

ки и только после захода солнца отправился со своими товарищами на отдых.

Непривычная работа очень измучила Антонио. Плохой ужин, который ему предложили, и сон на голых досках не могли восстановить его сил. Наутро он поднялся уже с трудом, а после нового рабочего дня вернулся совсем больным. Две недели пролежал он в горячке. Носильщики, как умели, ухаживали за ним и держали его у себя за все время болезни.

Однако, когда Антонио начал поправляться, ему заявили, что он должен покинуть товарищество, так как оказался непостоянным на работе. Антонио и сам признавал это. Он отказался от нескольких грошей, которые ему предлагали на дорогу, и снова пошел искать пристанища.

На этот раз положение Антонио было особенно тяжело. Изнуренное тело, дрожащие руки, лихорадочно горящие глаза не могли внушить доверия. Антонио все отказывали в работе: и лодочники на реке, и уличные торговцы, и сторожа у городской стены. Ночь Антонио провел на каменной скамейке под кладбищенской оградой и продрог от дорасветного холода; днем его начал мучить голод, и Антонио, наконец, принужден был продать свою одежду. Наряд, называвшийся во дворце простым, был роскошным для уличного бродяги. Теперь у Антонио были обычные лохмотья нищего.

На деньги, вырученные от такой мены, Антонио мог утолить голод, но думы оставались мрачными. Приближалась ночь – опять холодная и сырая. Приступ вернувшейся болез-

ни мучил Антонио. Почти бессознательно он покинул людскую часть города и добрался до окраины, где через реку был перекинут так называемый Старый мост.

Река бурлила, угрюмая и черная; загоравшиеся звезды бо-язливо трепетали на ее волнах. Но Антонио казалось, что река приветливее, чем город, шумевший вдали. «Нет, видно, я не способен к той жизни, на какую обрек себя, – думал Антонио, – стоит ли дожидаться медленной смерти».

Антонио спустился по крутому скату реки и стал на илистом берегу. В это время луна поднялась из-за горизонта, и волны обагрились; осветился даже суровый Старый мост. Антонио показалось, что перед ним совершилось чудо; вместе с тем ему послышался голос: «Надейся, не падай духом».

– В самом деле, – сказал себе Антонио, – еще не все пропало. Мои деньги еще несколько дней не дадут мне умереть с голоду, а что касается до ночлега, то вот передо мной прекрасный даровой приют: свод этого гигантского моста.

Антонио направился к мосту столь твердо, насколько позволяла ему слабость. Сырой туман охватил Антонио под аркой, но все же здесь было теплее, а главное, сюда не проникало ветра. Антонио стал выбирать место, где бы прилечь, как вдруг что-то зашумело вблизи, и какая-то белая тень мелькнула вдоль стены.

Антонио рассмотрел, что то была женская фигура.

– Послушайте, – сказал он, – вы напрасно убегаете, вам нечего бояться.

– А ты кто такой? – спросил его тихий голос.

– Бедняк, который хочет переночевать под сводами этого моста.

– Ты выследил меня? Антонио не понял этих слов.

– Уверяю вас, – сказал он, – что мои слова – правда. А если и вы искали здесь пристанища, то, вероятно, нам хватит места обоим.

– Твой голос незнаком мне, – задумчиво сказала женщина, – а я было приняла тебя за черного Пьетро. Тот все грозил, что разыщет мое новое жилище. Так ты и в самом деле пришел сюда случайно?

– Готов поклясться.

– И... – тут говорившая смешалась, – не будешь ночью тревожить меня?

– Сеньора! Честь женщины для меня дороже всего!

Эта придворная фраза вырвалась у Антонио невольно. Изнемогая от усталости, он почти не знал, что говорил; голова у него кружилась, колени подгибались.

– Ну, хорошо, – сказала женщина, – так и быть, останемся оба... Помни только, что у меня есть нож... Ты можешь лечь вот здесь... нет, не сюда, правее... видишь вход?..

Антонио кое-как добрался до указанного ему места. То была глубокая ниша, врезавшаяся в стену моста наискось. В ней было тепло и даже почти не сыро. Антонио упал на камни, и тотчас же его охватило забытие.

Очнувшись утром при слабом желтоватом свете, проник-

шем в нишу, Антонио увидал, что к нему наклоняется молоденькая девушка. Лицо ее было худым и бледным, одежда состояла из жалкой кофты, поддерживаемой поясом, и из еще более жалкой разорванной юбки.

– Что, проснулся? – сказала девушка.

– Благодарю вас, – отвечал Антонио и хотел приподняться, но тотчас же снова упал со стоном.

– Да ты болен?

– Немного, – пробормотал Антонио, почти теряя сознание, – я был тяжело болен и очень устал вчера.

– Да ты, может быть, голоден, я принесу тебе хлеба.

– Нет, благодарю... не можете ли вы достать мне вина, это подкрепило бы мои силы... Вот у меня есть деньги.

– Как? ты богат! – изумилась девушка, увидя несколько серебряных монет, – хорошо, я куплю тебе вина...

Она убежала и скоро вернулась с несколькими оливками и бутылкой дешевого вина. Антонио отпил немного вина и съел одну маслину. Несколько оправившись, он приподнялся на своих камнях.

– Тебе нельзя сегодня ходить по ветру, – сказала девушка, – ты простудишься до смерти... Деньги у тебя есть, полежи здесь... или (прибавила она после некоторого колебания) – иди лучше ко мне: там теплее.

Она повела Антонио в другую нишу, более просторную. Здесь на полу лежали связки соломы, а вход можно было задвигать тяжелым камнем. Антонио увидал в этом убежище

подобие хозяйства – маленький котелок, таган, кружку.

– Лежи здесь до вечера, когда я приду, – уговаривала девушка, – здесь все найдется: вот вода, тут немного хлеба, а вот твое вино.

– Скажите мне ваше имя, – просил Антонио.

– Зовут меня Марьэттой, – отвечала девушка, произнося по-простонародному имя Марии.

Антонио остался один. Озноб мучил его весь день, но в теплой соломе ему было хорошо и уютно. По временам он даже испытывал странное удовольствие от всей этой обстановки.

Вечером вернулась Мария, продрогшая, усталая.

– Будем ужинать, – сказала она, – кстати, и комнату согреем.

Антонио смотрел, как Мария развела таган, кипятила воду и размачивала в ней хлеб.

– Скажите, чем вы занимаетесь? – спросил Антонио.

– Теперь прошу милостыню, – очень спокойно отвечала Мария.

Антонио показалось, что его сердце сжалось.

– Неужели, – заговорил он в волнении, – неужели вы не нашли других способов пропитания?.. Есть много путей честно зарабатывать свой хлеб.

– Видишь ли, – сказала она, обертываясь к нему всем лицом, – если будешь где-нибудь служить, к тебе будут приставать мужчины, а я этого не могу.

Помешивая хлеб в кипящей воде, Мария продолжала:

– Из этого все... Когда отец умер, взяла меня жена соседнего купца, так просто, из милости... Потом я подросла, стала работать... Подруги мои уж лет одиннадцати начинали толковать, кто у них будет, а я не могла, мне все это казалось противным. Потом и ко мне стали приставать мужчины, так что и проходу не стало. Я убежала, попробовала в другом месте – и там то же... Вот я совсем и ушла, стала прятаться – и сюда-то пробираюсь с опаской, чтобы кто не заметил... Ну, однако, у нас ужин готов, давай есть.

Они ужинали хлебом, размоченным в воде, и выпили остатки вина. О себе Антонио сказал, что его зовут Тони, что он прибыл из-за моря и никого в городе не знает.

Когда угли догорели, и совсем стемнело, Мария собралась уходить.

– Ты спи здесь, – сказала она, – а я пойду на твое вчерашнее место.

– Нет, я не могу согласиться, – возражал Антонио, – там холоднее, там сыро. Я прошу вас, лягте здесь же; клянусь вам – я не буду вас тревожить. Иначе я сам уйду...

Мария после долгих сомнений согласилась, и эту ночь они провели почти на одной постели.

На другой день Антонио чувствовал себя лучше. Силы к нему возвращались. Он позволил себе выйти из убежища и блуждал вдоль берега. По реке сновали лодки и тащились баржи, выше по набережной мелькали носилки и пешеходы.

Город кипел жизнью, но Антонио чувствовал, что он уже не принадлежит этой жизни, что он вступает в какой-то новый причудливый мир.

В этот вечер они долго заговорились с Марией. Антонио все не мог примириться с ее занятием.

– Зато как свободно, – говорила Мария, – бредешь, куда хочешь; если есть хлеб, ничего не делаешь, уйдешь себе в поле – а главное, никому не обязана.

– Как никому, а тем, которые подают вам?

– Что ж, они с тем и дают, чтобы господь бог им вдесятеро возвратил.

Мария много рассказывала о своей прошлой жизни, о своих немногих знакомых, о своих скромных мечтах. И в эту ночь они спали рядом, как брат и сестра.

Еще через два-три дня Антонио был совершенно здоров. Между тем деньги его уже вышли. Надо было ему опять позаботиться о своем пропитании. Снова начались поиски работы и снова безуспешно. Антонио долго боролся, прежде чем решился делить с Марией ее ужин. Его мучила мысль о том, как этот ужин добыт. Однако Мария предлагала его столь простодушно, что Антонио не решился отказать. Впоследствии он не то привык к установившемуся положению, не то перестал думать о нем.

Началась однообразная тихая жизнь, но полная какой-то странной прелести. Каждое утро и Антонио, и Мария выходили из своей норы. Мария шла в город, Антонио же за го-

родской вал, на берег моря. Там он ложился на песок и целыми часами любовался на бег волн, отдаваясь своим грезам. В этих грезах все реже и реже мелькали пышные залы дворца и прежние друзья принца Антонио. Изредка удавалось ему заработать несколько грошей, то присматривая за лодкой, то заменив на поле усталого рабочего. Эти деньги Антонио совестливо отдавал Марии.

С ней он встречался большею частью в сумерки. Она возвращалась в их общее жилище, принося с собой хлеб и немного овощей – дневное пропитание. Наступали часы общего разговора при свете углей под таганом. Передавались дневные впечатления, неудачи, смешные встречи. Звучал смех, и часы летели незаметно.

Иногда приходила к ним подруга Марии, Лора. Она была не старше Марии, тоже лет 16 —17-ти, но лицо ее было накрашено, а волосы дерзко взбиты. Прежде она стыдилась Марии, но с тех пор, как под Старым мостом поселился Антонио, стала самоувереннее. Она считала его возлюбленным Марии. Мария не оспаривала этого предположения и весело шутила со своей подругой; Антонио же не любил, когда Лора нарушала их одиночество.

Праздниками для Антонио были те дни, когда Мария находила, что у них денег много и можно отдохнуть. Тогда они вместе шли за город, на берег моря или через поле в лес. Там, выбрав уголок поуютнее, они располагались с незатейливым завтраком. Сначала болтали и смеялись, потом оба

довольствовались тем, что их руки соединены, волосы касаются – и эти часы молчания были счастливейшими часами. Случалось, что их заставляла вечерняя роса, а Марии все не хотелось покинуть зеленый приют под вязом и снять спую головку с плеча Антонио.

Тем временем приближалась зима. Ночи становились холоднее. Антонио и Мария на своей соломенной постели невольно ближе прижимались друг к другу; в тесных объятиях они старались согреть коченеющие члены. Антонио трепетал, сжимая руками худенькое тело, но Мария так беззаботно, с такой верой приникала к своему другу, что он не мог решиться на более дерзкую ласку, как припасть губами к ее кудрям, стараясь не разбудить ее.

А дни проходили, и небо стало более облачным. Солнце позже подымалось из-за леса и раньше закатывалось за океан. Марии поневоле приходилось больше оставаться с Антонио. Правда, через это случалось иной раз и голодать, но Антонио был счастлив, как ребенок.

Он не скрывал от себя, что его мечты сжились с образом Марии, что он дышит ее жизнью. Но сказать это ей самой Антонио не решался и ждал случая. Этот случай настал в поздний осенний день.

Антонио уже давно ждал Марию. Какое-то общее беспокойство заставило его подняться на набережную. Он услышал легкий стон и увидел вдали женскую тень. Антонио бросился навстречу.

Скоро он увидел, в чем дело. Высокий плечистый старик нищий «одной рукой» удерживал Марию, а другой наносил ей удары.

– Я говорил тебе, – твердил он, – не смей нам мешать. Хочешь просить, иди к нам, а отдельно не смей.

Мария извивалась в его руках. Вот ей удалось выскользнуть, и в руке у нее сверкнуло лезвие. Но Антонио был уже перед стариком. С силой, которую дал ему только порыв страсти, он схватил нищего за плечи, потряс его и отбросил на несколько шагов.

– Уйди, Тони, уйди, – упрашивала Мария, – я справлюсь с ним.

Антонио отстранил ее. В гордой уверенной позе он продолжал ждать. Нищий быстро поднялся; он приближался со злобой, уже сжав мощные кулаки; свет от фонаря под воротами дома падал на лицо Антонио. Нищий сделал еще несколько шагов, но уже медленнее, потом остановился, произнес ругательство и, повернувшись быстро, пошел прочь.

Антонио отнес Марию на руках в их общее жилище.

– Мария! милая! – твердил он, лаская ее дрожащие руки, – как ты мне дорога! Как я люблю тебя. Я умер бы, если б с тобой что-нибудь случилось.

– Я тоже люблю тебя, очень люблю, – отвечала Мария и прижималась к нему с доверчивой лаской.

– Тогда мы счастливейшие люди на свете!

– Конечно, Тони, мы очень счастливы.

Антонио на минуту задумался.

– Теперь все решено, – заговорил он, – мы слишком бедны, чтобы обвенчаться, но завтра мы пойдем вместе в часовню, и это будет нашим благословением на брак. Так ли, Мариэтта, невеста моя?

Но Мария отодвинулась от него – смущенно и печально.

– Что с тобой, дорогая? – спросил Антонно, – ведь мы любим друг друга? Возьмем же от любви все, что она может нам дать... Эта ниша будет для нас самым роскошным свадебным покоем, эта постель – ароматнейшим брачным ложем.

Мария плакала.

– Замолчи, замолчи! Ах, Тони! Неужели мы не были счастливы! Зачем ты как все!

Антонио, увлекаемый страстью, целовал ее волосы, молил ее о любви, со всем исступлением желания клялся в неизменности своего чувства, упрекал и тоже плакал и сжимал Марию жгучими объятиями. С усилием она вырвалась от него и скользнула к выходу. Антонио вдруг понял, что она уйдет навсегда, и бросился за ней. Он охватил ее колени, он весь дрожал, голос его прерывался.

– Мария, куда ты! Неужели ты можешь уйти от меня?

– Мне страшно. Тони... Я вернусь потом, право, вернусь... но мне страшно с тобой, Тони.

Теперь Антонио клялся, что все будет по-старому, что это был порыв, о котором надо поскорее забыть. Его слова были так нежны, дышали такой печалью, что Мария не сумела

возражать. Она опять плакала на плече Антонио и осталась с ним. Утомленные волнениями и слезами, они скоро заснули, сжимая друг друга в целомудренных объятиях.

На другой день Антонио и Мария проснулись под неожиданный колокольный гул. Все церкви города гудели. Мария пошла узнать, в чем дело, и вернулась с потрясающим известием: старик король скончался.

На Антонио эта новость произвела странное впечатление: словно весть из земного мира для духа, уже прервавшего земные оковы.

«Итак, отец умер, – думал Антонио, – на престоле Марко, мой брат, мой личный враг».

Задумавшись, Антонио вмешался в толпу и незаметно зашел в людную половину города, куда попадал редко. Толпа теснилась к герольдам, возвещавшим новости из дворца. Антонио пробрался в первый ряд.

В это время по улице ехала маленькая кавалькада. Антонио узнал своего дядю, Онорио, с его свитой. Рядом с Онорио ехала молоденькая девушка. То была Марта, прежняя невеста Антонио. Невольно он еще больше выдвинулся из толпы, но тотчас опомнился и хотел поспешно скрыться.

Онорио внезапно остановил свою лошадь и спрыгнул на землю. Толпа расступилась, и через минуту он уже настиг Антонио. Тот остановился, пораженный неожиданностью.

Онорио опустил на одно колено.

– Государь, – сказал он, – позвольте мне первому прине-

сти вам присягу в верности.

– Онорио! дядя! Что вы говорите! Вы губите себя самого, – воскликнул Антонио, совершенно потерявшись.

– Я знаю, что не ошибаюсь! – радостно промолвил Онорио и добавил, обращаясь к своей свите: – Трубите, вот ваш государь, Антонио III.

На рубище Антонио накинули пурпурную мантию, его посадили на коня и ввели в середину свиты.

Пока скакали ко дворцу, Онорио рассказывал важнейшие события последнего времени. Оказалось, что Марко умер вчера на охоте, упав с лошади, и что это-то несчастье и было причиной смерти старого короля.

Между тем уже давно ходили слухи, что принц Антонио, в одежде нищего, скрывается в столице. Отец-король, давно забывший свой гнев, приказывал разыскать сына, но это никому не удавалось.

Через пять минут уже были во дворце. Придворные склонялись пред Антонио; весть о его возвращении уже разнеслась по городу, и народ кричал приветствия, толпясь под стенами дворца.

Как сновидение, исчезла недавняя жизнь в трущобах столицы, воскресла пышность и роскошь, быстрой вереницей промчались дни торжеств и всеобщего поклонения. Это было опьянение властью и лестью, в котором погас бледный образ молоденькой девушки, проводившей ночи под сводом Старого моста.

А дни проходили. Уже воцарилась зима и уже прошла, и повеяло весной. Пронесся первый шум празднеств, началась обычная дворцовая жизнь. Королю стали намекать, что ему подобало бы избрать себе подругу и помощницу в державных трудах, а народу мать и покровительницу. Онорио явно указывал на свою дочь.

Никто не замечал, что странная тоска теснила сердце Антонио. Напрасно он старался забыть то в усиленных занятиях, то в шумных пирах. Ему кого-то недоставало на троне, душа жаждала чего-то, искала – и вот среди ночи он услышал ответ, подсказанный воспоминаниями:

– Мария.

Была светлая весенняя ночь, когда кортеж из четырех человек, закутанных плащами, выехал из дворца. Всадники направлялись к Старому мосту. На последнем повороте трое остановились, а один поскакал дальше. Это был король. С факелом в руках он стал спускаться по откосу.

Вот знакомая арка – вот желтая ниша-факел скрылся в ней; его свет задрожал на каменных плитах. Мария, испуганная, вскочила с своей соломы и прижалась к стене, но тотчас же узнала Антонио и бросилась ему на грудь.

– Тони, ты вернулся. О, мой дорогой, мой милый! Как мог ты меня покинуть, о, какие ужасные месяцы, как страшно быть одной!

Говоря, она обвивала его шею руками. Антонио молчал, всматриваясь в ее глаза. Но вот Мария поразила его одея-

нием.

– Тони! ты стал богатым? и ты все-таки не забыл своей Мариэтты.

– Идем со мной, – промолвил Антонио.

– Но куда?

– Разве ты боишься?

– С тобой – ничего.

Антонио завернул ее в плащ и увлек за собой.

Четко раздавался топот коней по сонным улицам, гулко прозвучал он под аркой дворцовых ворот.

– Тони, но ведь это дворец?

По потаенной лестнице они поднялись во внутренние покои короля. Теперь Антонио обратился к своим молчаливым спутникам.

– Сеньоры! за ваше молчание мне отвечает ваша честь. В награду за вашу услугу можете первые приветствовать вашу королеву. Говорю вам: на всей земле нет девушки более достойной этого.

Трое приближенных короля нерешительно склонились перед Марией.

– Тони, – пролепетала она, – что это все?

– Вы были правы, Мария, – отвечал король, – это дворец. Ваш нищий друг стал государем всей страны, и вы разделите его новое положение, как делили с ним бедствия. Сеньор Джулио, проводите сеньорину в предназначенный ей покой, Мария хотела говорить, возражать, но король скрылся.

Приходилось следовать за сеньором Джулио.

Нарядные прислужницы почтительно встретили Марию; видимо, они ожидали ее. Взволнованная последними событиями, Мария как бы потеряла свою собственную волю и предоставила себя их распоряжению. Она не замечала ни полунасмешливых взглядов, ни злобных намеков.

Через час Мария покоилась на роскошной постели, утопала в кружевах, опьяненная ароматами. Так провела она остаток ночи, вспоминая свое соломенное ложе, и с трепетом ожидала чего-то. Но ее ночной покой не был нарушен, и под утро она заснула тревожным сном.

Часто бывал у Марии Онорио. Она любила его посещения: с ним с одним решалась она говорить откровенно, ему одному поверяла она свои тревоги.

Онорио участливо выслушивал ее жалобы и говорил ей в ответ несколько слов утешения. Впрочем, он рассказывал, как возбуждены против нее и народ и знать, как тяжело будет ей жить, если она действительно выйдет замуж за короля. Мария просила совета; но хитрый придворный выбрал более удобную минуту, чтобы привести в исполнение свои замыслы.

Однажды, когда короля не было у Марии, Онорио засиделся особенно долго. В этот день Мария сильнее, чем когда-либо, чувствовала себя несчастной; ее страшило то, что она должна занять неподходящее ей место, и то, что вообще надо было решиться на такой шаг, как замужество. Мария

говорила, что предпочла бы поступить в монастырь.

– Этого вам не позволит государь, – сказал Онорио, – вы говорили ему о своей любви, и теперь у вас нет причин отказываться от свадьбы... Но, если все, что вы рассказывали, сказано искренно, позвольте мне, старику, дать вам искренний совет. Подумайте – почему государь непременно желает, чтобы вы стали его женой? Потому, что не видит другого пути добиться вашей благосклонности. Будьте к нему снисходительнее, страсть пройдет, и вы избавитесь от многих бед. Быть супругой короля все равно для вас невозможно – этого не потерпит народ. Уступите же желаниям своего государя, вы всю жизнь свою проживете пышно и счастливо.

– Лучше бы умереть, – сказала Мария.

Она разрыдалась, но Онорио говорил еще долго, говорил осторожно и вкрадчиво. Расставшись с ним, она верила, что другого исхода нет. Ночью она долго молилась и, наконец, решила последовать совету Онорио.

Марии пришлось еще пережить все пытки пышного обеда. Наконец, к вечеру она осталась одна в своей спальне – бросившись на постель, она стала плакать.

Прибыл король, горевший нетерпением видеть Марию. Но, даже оставшись с ним наедине, Мария чувствовала себя несвободной.

– Развеселись, Мариэтта, – говорил король, – забудь перемену наших положений. Будь со мной, как со своим Тони.

– Я не могу, государь, – отвечала Мария. – Я как в тюрьме.

Я ничего не смею, ничего не знаю.

– Ты моя невеста, Мария!

– Государь, умоляю вас, не принуждайте меня к этому.

– Что за пустяки, – воскликнул король, целуя ее. – Я понимаю, что ты когда-то отказывалась. Но теперь совсем иное дело, наш брак благословит церковь и даже сам папа.

Мария грустно смотрела вдаль.

– Ах, государь, – промолвила она, – боюсь, что вы будете обвинять меня, что нарочно вас мучаю. Но право же, я ничего не искала. Я вовсе не добиваюсь чего-нибудь... Я и так вас люблю...

– В самом деле? – сказал король, ближе и ближе привлекая к себе Марию, – сознаешься опять, что любишь меня. Ну, целуй же своего Тони, обними его, крепче, крепче.

Мария с опущенными ресницами и с бледным румянцем прижималась к королю. Опьяненный этой близостью, он охватил ее страстными объятьями. Мария не сопротивлялась.

Луч денницы пробивался в узорчатое окно, когда король прощался с Марией.

– Пусть сеньоры поступают как угодно, – говорил король, – через месяц наша свадьба. Помни это, Мариэтта, жена моя.

Король удалился, считая себя счастливейшим человеком в мире. Когда Мария осталась одна, ею овладело бесконечное чувство стыда. Она закрывала глаза, ей хотелось неза-

метно умереть, перестать существовать.

В определенный час к Марии пришли ее дамы и помогли ей одеться. Мария не слушала их намеки, но ей казалось невозможным жить после того, что произошло.

Среди своих приближенных Мария обратила внимание на молоденькую девушку с черными волосами. Воспользовавшись случаем, она отозвала ее в отдельную комнату. Там Мария, упав на колени, умоляла помочь ей бежать.

Слезы и мольбы тронули молодую девушку. Она достала Марии простую одежду и дала ей возможность выбраться из дворца. Мария вмешалась в знакомую ей уличную толпу.

Пробравшись к Старому мосту, Мария скользнула вниз по откосу. Под аркой все было по-старому, но Мария не осмелилась войти в свое прежнее жилище. Она только долго смотрела на темную нишу.

Потом Мария села на камне над рекой и неподвижно сидела здесь, глядя на черные волны. С лодок окликали ее, над ней смеялись – она не слыхала.

Настал вечер, а затем ночь. Летние звезды медленно выплыли из лазури. Туман колыхнулся воздушным шатром. Смолкли последние шумы, и Старый мост задремал.

Тогда волны перед камнем, где сидела Мария, разомкнулись и тотчас сомкнулись снова.

Король был в отчаянии, узнав об исчезновении Марии, грозил смертью всем ее приближенным и рассылал искать ее по всем городам. Проезжая по улицам, король жадно вгля-

дывался в толпу, надеясь встретить тихие взоры Марьэтты.

Когда осенью праздновали бракосочетание короля Антонио III с Мартой, дочерью Онорио, народу были устроены особенно пышные празднества. Всем раздавали хлеб, плоды и вино, по городу разъезжали блестящие процессии, герольды бросали в толпу целые горсти серебряных монет.

Республика Южного Креста

СТАТЬЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ВЫПУСКЕ

«СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКОГО ВЕЧЕРНЕГО ВЕСТНИКА»

За последнее время появился целый ряд описаний страшной катастрофы, постигшей Республику Южного Креста. Они поразительно разнятся между собой и передают немало событий, явно фантастических и невероятных. По-видимому, составители этих описаний слишком доверчиво относились к показаниям спасшихся жителей Звездного города, которые, как известно, все были поражены психическим расстройством.

Вот почему мы считаем полезным и своевременным сделать здесь свод всех достоверных сведений, какие пока имеем о трагедии, разыгравшейся на Южном полюсе. Республика Южного Креста возникла сорок лет тому назад из трех сталелитейных заводов, расположенных в южно-полярных областях. В циркулярной ноте разосланной правительствам всего земного шара, новое государство выразило притязания на все земли, как материковые, так и островные, заключенные в пределах южно-полярного круга, равно как на

все части этих земель, выходящие из указанных пределов. Земли эти оно изъявляло готовность приобрести покупкой у государств, считавших их под своим протекторатом. Претензии новой Республики не встретили противодействия со стороны пятнадцати великих держав мира. Спорные вопросы о некоторых островах, всецело лежащих за полярным кругом, но тесно примыкавших к южно-полярным областям, потребовали отдельных трактатов. По исполнении различных формальностей Республика Южного Креста была принята в семью мировых государств и представители ее Аккредитованы при их правительствах.

Главный город Республики, получивший название Звездного, был расположен на самом полюсе. В той воображаемой точке, где проходит земная ось, и сходятся все земные меридианы, стояло здание городской ратуши, и острие ее шпиля, подымавшегося над городской крышей, было направлено к небесному надиру. Улицы города расходились по меридианам от ратуши, а меридиональные пересекались другими, шедшими по параллельным кругам. Высота всех строений и внешность построек были одинаковы. Окон в стенах не было, так как здания освещались изнутри электричеством. Электричеством же освещались и улицы. Ввиду суровости климата над городом была устроена не проницаемая для света крыша, с могучими вентиляторами для постоянного обмена воздуха. Те местности земного шара знают в течение года лишь один день в шесть месяцев и одну долгую ночь, то-

же в шесть месяцев, но улицы Звездного города были неизменно залиты ясным и ровным светом. Подобно этому, во все времена года температура на улицах искусственно поддерживалась на одной и той же высоте.

По последней переписи, число жителей Звездного города достигало 2 500 000 человек. Все остальное население Республики, исчислявшееся в 50 000 000, сосредоточивалось вокруг портов и заводов. Эти пункты образовывали тоже миллионные скопления людей и по внешнему устройству напоминали Звездный город. Благодаря остроумному применению электрической силы, входы в местные гавани оставались открытыми весь год. Подвесные электрические дороги соединяли между собой населенные места Республики, перекидывая ежедневно из одного города в другой десятки тысяч людей и миллионы килограммов товара. Что касается внутренности страны, то она оставалась необитаемой. Перед взорами путешественников, в окно вагона, проходили только однообразные пустыни, совершенно белые зимой и поросшие скудной травой в три летних месяца. Дикие животные были давно истреблены, а человеку нечем было существовать там. И тем поразительнее была напряженная жизнь портовых городов и заводских центров. Что бы дать понятие об этой жизни, достаточно сказать, что за последние годы около семи десятых всего добываемого на земле, поступало на обработку в государственные заводы Республики.

Конституция Республики, по внешним признакам, каза-

лась осуществлением крайнего народовластия. Единственными полноправными гражданами считались работники металлургических заводов, составлявшие около 60% всего населения. Заводы эти были государственной собственностью. Жизнь работников на заводах была обставлена не только всевозможными удобствами, но даже роскошью. В их распоряжении, кроме прекрасных помещений и изысканного стола, предоставлены были разнообразные образовательные учреждения и увеселения: библиотеки, музеи, театры, концерты, залы для всех видов спорта и т. д. Число рабочих часов в сутки было крайне незначительно. Воспитание и образование детей, медицинская и юридическая помощь, отправление религиозных служений разных культов было государственной заботой. Широко обеспеченные в удовлетворении всех своих нужд, потребностей и даже прихотей, работники государственных заводов не получали никакого денежного вознаграждения, по семьм гражданам, прослуживших на заводе 20 лет, а также скончавшихся или лишившихся в годы службы работоспособности, получали богатую пожизненную пенсию с условием не покидать Республики. Из среды тех же работников, путем всеобщего голосования, избирались представители в Законодательную Палату Республики, ведавшую все вопросы политической жизни страны, без права изменять ее основные законы.

Однако эта демократическая внешность прикрывала чисто самодержавную тиранию членов-учредителей бывшего

треста. Предоставляя другим места депутатов в Палате, они неизменно проводили своих кандидатов в директора заводов. В руках Совета этих директоров сосредоточивалась экономическая жизнь страны. Они принимали все заказы и распределяли их по заводам; они приобретали материалы и машины для работы; они вели все хозяйство заводов. Через их руки проходили громадные суммы денег, считавшиеся миллиардами. Законодательная Палата лишь утверждала представляемые ей росписи доходов и расходов по управлению заводами, хотя баланс этих росписей далеко превышал весь бюджет Республики. Влияние Совета директоров в международных отношениях было громадно. Его решения могли разорить целые страны. Цены, устанавливаемые им, определяли заработок миллионов трудящихся масс на всей земле. В то же время влияние Совета, хотя и не прямое, на внутренние дела Республики всегда было решающим. Законодательная Палата, в сущности, являлась лишь покорным исполнителем воли Совета.

Сохранением власти в своих руках Совет был обязан, прежде всего, беспощадной регламентации всей жизни страны. При кажущейся свободе жизнь граждан была нормирована до мельчайших подробностей. Здания всех городов Республики строились по одному и тому же образцу, определенному законом. Убранство всех помещений, предоставляемых работникам, при всей его роскоши, было строго единообразным. Все получали одинаковую пищу в одни и те же ча-

сы. Платье, выдававшееся из государственных складов, было неизменно, в течение десятков лет, одного и того же покроя. После определенного часа, возвещавшегося сигналом с ратуши, воспрещалось выходить из дома.

Вся печать страны подчинена была зоркой цензуре. Никакие статьи, направленные против диктатуры Совета, не пропускались. Впрочем, вся страна настолько была убеждена в благодетельности этой диктатуры, что наборщики сами отказывались набирать строки, критикующие Совет. Заводы были полны агентами Совета. При малейшем проявлении недовольства Советом агенты спешили на быстро собранных митингах страстными речами разубедить усомнившихся. Обезоруживающим доказательством служило, конечно, то, что жизнь работников в Республике была предметом зависти для всей земли. Утверждают, что в случае неуклонной агитации отдельных лиц Совет не брезгал политическим убийством. Во всяком случае, за все время существования Республики общим голосованием граждан не было избрано в Совет ни одного директора, враждебного членам-учредителям.

Население Звездного города состояло преимущественно из работников, отслуживших свой срок. То были, так сказать, государственные рантье. Средства, получаемые ими от государства, давали им возможность жить богато. Не удивительно поэтому, что Звездный город считался одним из самых веселых городов мира. Для разных антрепренеров и предпринимателей он был золотым дном. Знаменитости

всей земли несли сюда свои таланты. Здесь были лучшие оперы, лучшие концерты, лучшие художественные выставки; здесь издавались самые осведомленные газеты. Магазины Звездного города поражали богатством выбора; рестораны – роскошью и утонченностью сервировки; притоны соблазняли всеми формами разврата, изобретенными древним и новым миром. Однако правительственная регламентация жизни сохранялась и в Звездном городе. Правда, убранство квартир и моды платья не были стеснены, но оставалось в силе воспрещение выхода из дому после определенного часа, сохранялась строгая цензура печати, содержался Советом обширный штат шпионов. Порядок официально поддерживался народной стражей, но рядом с ней существовала тайная полиция всеведущего Совета.

Таков был, в самых общих чертах, строй жизни в Республике Южного Креста и ее столице. Задачей будущего историка будет определить, насколько повлиял он на возникновение и распространение роковой эпидемии, приведшей к гибели Звездного города, а может быть, и всего молодого государства.

Первые случаи заболевания «противоречием» были отмечены в Республике уже лет 20 тому назад. Тогда болезнь имела характер случайных, спорадических заболеваний. Однако местные психиатры и невропатологи заинтересовались ею, дали ее подробное описание, и на состоявшемся тогда международном медицинском конгрессе в Лхассе ей было

посвящено несколько докладов. Позднее ее как-то забыли, хотя в психиатрических лечебницах Звездного города никогда не было недостатка в заболевших ею. Свое название болезнь получила от того, что больные ею постоянно сами противоречат своим желаниям, хотят одного, но говорят и делают другое. (Научное название болезни – *tarna contradicena*). Начинается она обыкновенно с довольно слабо выраженных симптомов, преимущественно в форме своеобразной афазии. Заболевший вместо «да» говорит «нет»; желая сказать ласковые слова, осыпает собеседника бранью и т. д. Большею частью одновременно с этим больной начинает противоречить себе и своими поступками: намереваясь идти влево, поворачивает вправо, думая поднять шляпу, чтобы лучше видеть, нахлобучивает ее себе на глаза и т. д. С развитием болезни эти «противоречия» наполняют всю телесную и духовную жизнь больного, разумеется, представляя бесконечное разнообразие, сообразно с индивидуальными особенностями каждого. В общем, речь больного становится непонятной, его поступки нелепыми. Нарушается и правильность физиологических отправления организма. Сознвая неразумность своего поведения, больной приходит в крайнее возбуждение, доходящее часто до иступления. Очень многие кончают жизнь самоубийством, иногда в припадке безумия, иногда, напротив, в минуту душевного просветления. Другие погибают от кровоизлияния в мозг. Почти всегда болезнь приводит к летальному исходу; случаи выздоровления край-

не редки.

Эпидемический характер *tarna contradicena* приняла в Звездном городе со средних месяцев текущего года. До этого времени число больных «противоречием» никогда не превышало 2% общего числа заболевших. Но это отношение в мае месяце (осеннем месяце в Республике) сразу возросло до 25% и все увеличивалось в следующие месяцы, причем с такой же стремительностью возрастало и абсолютное число заболеваний. В средних числах июня уже около 2% всего населения, т. е. около 50 000 человек, официально признавались больными «противоречием». Статистических данных позже этого времени у нас нет. Больницы переполнились. Контингент врачей быстро оказался совершенно недостаточным. К тому же сами врачи, а также и больничные служащие стали подвергаться тому же заболеванию. Очень скоро больным стало не к кому обращаться за врачебной помощью, и точная регистрация заболеваний стала невозможной. Впрочем, показания всех очевидцев сходятся на том, что в июле месяце нельзя было встретить семьи, где не было бы больного. При этом число здоровых неизменно уменьшалось, так как началась массовая эмиграция из города, как из зачумленного места, а число больных увеличивалось. Можно думать, что не далеки от истины те, кто утверждают, что в августе месяце все, оставшиеся в Звездном городе, были поражены психическим расстройством.

За первыми проявлениями эпидемии можно следить по

местным газетам, заносившим их во все возраставшую м них рубрику: *tarna contradicena*. Так как распознавание болезни в ее первых стадиях очень затруднительно, то хроника первых дней эпидемии полна комических эпизодом. Заболевший кондуктор метрополитэна вместо того, чтобы получать деньги с пассажиров, сам платил им. Уличный стражник, обязанностью которого было регулировать уличное движение, путал его в течение всего дня. Посетитель музея, ходя по залам, снимал все картины и поворачивал их к стене. Газета, исправленная рукой заболевшего корректора, оказывалась переполненной смешными нелепостями. В концерте больной скрипач вдруг нарушал ужаснейшими диссонансами исполняемую оркестром пьесу – и т. д. Длинный ряд таких происшествий давал пищу остроумным выходкам местных фельетонистов. Но несколько случаев иного рода скоро остановили поток шуток. Первый состоял в том, что врач, заболевший «противоречием», прописал одной девушке средство, безусловно смертельное для нее, и его пациентка умерла. Дня три газеты были заняты этим событием. Затем две няньки в городском детском саду, в припадке «противоречия», перерезали горло сорок одному ребенку. Сообщение об этом потрясло весь город. Но в тот же день вечером из дома, где помещались городские милиционеры, двое больных выкатили митральезу и осыпали картечью мирно гулявшую толпу. Убитых и раненых было до пятисот человек.

После этого все газеты, все общество закричали, что надо

немедленно принять меры против эпидемии. Экстренное заседание соединенных Городского Совета и Законодательной Палаты порешило немедленно пригласить врачей из других городов и из-за границы, расширить существующие больницы, открыть новые и везде устроить покои для изоляции заболевших «противоречием», напечатать и распространить в 500 000 экземплярах брошюру о новой болезни, где указывались бы ее признаки и способы лечения, организовать на всех улицах специальные дежурства врачей и их сотрудников и обходы частных квартир для оказания первой помощи и т. д. Постановлено было также отправлять ежедневно по всем дорогам поезда исключительно для больных, так как врачи признавали лучшим средством против болезни перемену места. Сходные мероприятия были в то же время предприняты различными частными ассоциациями, союзами и клубами. Организовалось даже особое «Общество для борьбы с эпидемией», члены которого скоро проявили себя действительно самоотверженной деятельностью. Но, несмотря на то, что все эти и сходные меры проводились с неутомимой энергией, эпидемия не ослабевала, но усиливалась с каждым днем, поражая равно стариков и детей, мужчин и женщин, людей работающих и пользующихся отдыхом, воздержных и распутных. И скоро все общество было охвачено неодолимым, стихийным ужасом перед неслыханным бедствием.

Началось бегство из Звездного города. Сначала некоторые лица, особенно из числа выдающихся сановников, ди-

ректоров, членов Законодательной Палаты и Городского Совета, поспешили выслать свои семейства в южные города Австралии и Патагонии. За ними потянулось случайное прошлое население – иностранцы, охотно съезжавшиеся в «самый веселый город южного полушария», артисты всех профессий, разного рода дельцы, женщины легкого поведения. Затем, при новых успехах эпидемии, кинулись и торговцы. Они спешно распродавали товары или оставляли свои магазины на произвол судьбы. С ними вместе бежали банкиры, содержатели театров и ресторанов, издатели газет и книг. Наконец, дело дошло и до коренных, местных жителей. По закону, бывшим работникам был воспрещен выезд из Республики без особого разрешения правительства, под угрозой лишения пенсии. Но на эту угрозу уже не обращали внимания, спасая свою жизнь. Началось и дезертирство. Бежали служащие городских учреждений, бежали чины народной милиции, бежали сиделки больниц, фармацевты, врачи. Стремление бежать, в свою очередь, стало манией. Бежали все, кто мог бежать.

Станции электрических дорог осаждались громадными толпами. Билеты в поездах покупались за громадные суммы и получались с бою. За места на управляемых аэростах, которые могли поднять всего десяток пассажиров, платили целые состояния... В минуту отхода поезда врывались в вагоны новые лица и не уступали завоеванного места. Толпы останавливали поезда, снаряженные исключительно для

больных, вытаскивали их из вагонов, занимали их койки и силой заставляли машиниста дать ход. Весь подвижной состав железных дорог Республики с конца мая работал только на линиях, соединяющих столицу с портами. Из Звездного города поезда шли переполненными; пассажиры стояли во всех проходах, отваживались даже стоять наружи, хотя, при скорости хода современных электрических дорог, это грозит смертью от задушения. Пароходные компании Австралии, Южной Америки и Южной Африки несообразно нажились, перевозя эмигрантов Республики в другие страны. Не менее обогатились две Южные Компании аэростатов, которые успели совершить около десяти рейсов и вывезли из Звездного города последних, замедливших миллиардеров... По направлению к Звездному городу, напротив, поезда шли почти пустыми; ни за какое жалованье нельзя было найти лиц, согласных ехать на службу в столицу; только изредка отправлялись в зачумленный город эксцентричные туристы, любители сильных ощущений. Вычислено, что с начала эмиграции по 22 июня, когда правильное движение поездов прекратилось, по всем шести железнодорожным линиям выехало из Звездного города полтора миллиона человек, т. е. почти две трети всего населения.

Своей предприимчивостью, силой воли и мужеством заслужил себе в это время вечную славу председатель Городского Совета Орас Дивиль. В экстренном заседании 5 июня Городской Совет по соглашению с Палатой и Советом ди-

ректоров вручил Дивилию диктаторскую власть над городом с званием Начальника, передав ему распоряжение городскими суммами, народной милицией и городскими предприятиями. Вслед за этим правительственные учреждения и архив были вывезены из Звездного города в Северный порт. Имя Ораса Дивилия должно быть записано золотыми буквами среди самых благородных имен человечества. В течение полутора месяцев он боролся с возрастающей анархией в городе. Ему удалось собрать вокруг себя группу столь же самоотверженных помощников. Он сумел долгое время удерживать дисциплину и повиновение в среде народной милиции и городских служащих, охваченных ужасом перед общим бедствием и постоянно децимируемых эпидемией. Орасу Дивилию обязаны сотни тысяч своим спасением, так как благодаря его энергии и распорядительности им удалось уехать. Другим тысячам людей он облегчил последние дни, дав возможность умереть в больнице, при заботливом уходе, а не под ударами обезумевшей толпы. Наконец, человечеству Дивиль сохранил летопись всей катастрофы, так как нельзя назвать иначе краткие, но содержательные и точные телеграммы, которые он ежедневно и по нескольку раз в день отправлял из Звездного города во временную резиденцию правительства Республики, в Северный порт.

Первым делом Дивилия, при вступлении в должность Начальника города, была попытка успокоить встревоженные умы населения. Были изданы манифесты, указывавшие на

то, что психическая зараза легче всего переносится на людей возбужденных, и призывавшие людей здоровых и уравновешенных влиять своим авторитетом на лиц слабых: и нервных. При этом Дивиль вошел в сношение с «Обществом для борьбы с эпидемией» и распределил между его членами все общественные места, театры, собрания, площади, улицы. В эти дни почти не проходило часа, чтобы в любом месте не обнаруживались заболевания. То там, то здесь замечались лица или целые группы лиц, своим поведением явно доказывающие свою ненормальность. Большею частью у больных, понявших свое состояние, являлось немедленное желание обратиться за помощью. Но, под влиянием расстроенной психики, это желание выражалось у них какими-нибудь враждебными действиями против близстоящих. Больные хотели бы спешить домой или в лечебницу, но вместо этого испуганно бросались бежать к окраинам города. Им являлась мысль просить кого-нибудь принять в них участие, но вместо того они хватали случайных прохожих за горло, душили их, наносили им побои, иногда даже раны ножом или палкой. Поэтому толпа, как только оказывался поблизости человек, пораженный «противоречием», обращалась в бегство. В эти минуты и являлись на помощь члены «Общества». Одни из них овладевали больным, успокаивали его и направляли в ближайшую лечебницу; другие старались вразумить толпу и объяснить ей, что нет никакой опасности, что случилось только новое несчастье, с которым все должны бороться по

мере сил.

В театрах и собраниях случаи внезапного заболевания очень часто приводили к трагическим развязкам. В опере несколько сот зрителей, охваченных массовым безумием, вместо того, чтобы выразить свой восторг певцам, ринулись на сцену и осыпали их побоями. В Большом Драматическом театре внезапно заболевший артист, который по роли должен был окончить самоубийством, произвел несколько выстрелов в зрительный зал. Револьвер, конечно, не был заряжен, но под влиянием нервного напряжения у многих лиц в публике обнаружилась уже таившаяся в них болезнь. При происшедшем смятении, в котором естественная паника была усилена «противоречивыми» поступками безумцев, было убито несколько десятков человек. Но всего ужаснее было происшествие в Театре Фейерверков. Наряд городской милиции, назначенный туда для наблюдения за безопасностью от огня, в припадке болезни поджег сцену и те вуали, за которыми распределяются световые эффекты. От огня я в давке погибло не менее 200 человек. После этого события Орас Дивиль распорядился прекратить все театральные и музыкальные исполнения в городе.

Громадную опасность для жителей представляли грабители и воры, которые при общей дезорганизации находили широкое поле для своей деятельности. Уверяют, что иные из них прибывали в это время в Звездный город из-за границы. Некоторые симулировали безумие, чтобы остаться без-

наказанными. Другие не считали нужным даже прикрывать открытого грабежа притворством. Шайки разбойников Смело входили в покинутые магазины и уносили более ценные вещи, врывались в частные квартиры и требовали золота, останавливали прохожих и отнимали у них драгоценности, часы, перстни, браслеты. К грабежам присоединились насилия всякого рода, и прежде всего насилия над женщинами. Начальник города высылал целые отряды милиции против преступников, но те отваживались вступать в открытые сражения. Были страшные случаи, когда среди грабителей или среди милиционеров внезапно оказывались заболевшие «противоречием», обращавшие оружие против своих товарищей. Арестованных грабителей Начальник сначала высылал из города. Но граждане освобождали их из тюремных вагонов, чтобы занять их место. Тогда Начальник принужден был приговаривать уличенных разбойников и насильников к смерти. Так, после почти трехвекового перерыва, была возобновлена на земле открытая смертная казнь.

В июне в городе стала сказываться нужда в предметах первой необходимости. Недоставало жизненных припасов, недоставало медикаментов. Подвоз по железной дороге начал сокращаться; в городе же почти прекратились всякие производства. Дивиль организовал городские хлебопекарни и раздачу хлеба и мяса всем жителям. В городе были устроены общественные столовые по образцу существовавших на заводах. Но невозможно было найти достаточного числа ра-

ботающих для них. Добровольцы-служащие трудились до изнеможения, но число их уменьшалось. Городские крематории пылали круглые сутки, но число мертвых тел в покойницких не убывало, а возрастало. Начали находить трупы на улицах и в частных домах. Городские центральные предприятия по телеграфу, телефону, освещению, водопроводу, канализации обслуживались все меньшим и меньшим числом лиц. Удивительно, как Дивиль успевал всюду. Он за всем следил, всем руководил. По его сообщениям можно подумывать, что он не знал отдыха. И все спасшиеся после катастрофы свидетельствуют единогласно, что его деятельность была выше всякой похвалы.

В середине июня стал чувствоваться недостаток служащих на железных дорогах. Не было машинистов и кондукторов, чтобы обслуживать поезда. 17 июня произошло первое крушение на Юго-Западной линии, причиной которого было заболевание машиниста «противоречием». В припадке болезни машинист бросил весь поезд с пятисаженной высоты на ледяное поле. Почти все ехавшие были убиты или искалечены. Известие об этом, доставленное в город со следующим поездом, было подобно удару грома. Тотчас был отправлен санитарный поезд. Он привез трупы и изувеченные полуживые тела. Но к вечеру того же дня распространилась весть, что аналогичная катастрофа разразилась и на Первой линии. Два железнодорожных пути, соединяющих Звездный город с миром, оказались испорченными. Были посланы и из

города и из Северного порта отряды для исправления путей, но работа в тех странах почти невозможна в зимние месяцы. Пришлось отказаться от надежды восстановить в скором времени движение.

Эти две катастрофы были лишь образцами для следующих. Чем с большей тревогой брались машинисты за свое дело, тем вернее в болезненной припадке они повторяли проступок своих предшественников. Именно потому, что они боялись, как бы не погубить поезда, они губили его. За пять дней от 18 по 22 июня семь поездов, переполненных людьми, было сброшено в пропасть. Тысячи людей нашли себе смерть от ушибов и голода в снежных равнинах. Только у очень немногих достало сил вернуться в город. Вместе с тем все шесть магистралей, связывающих Звездный город с миром, оказались испорченными. Еще раньше прекратилось сообщение аэростатами. Один из них был разгромлен разъяренной толпой, которая негодовала на то, что воздушным путем пользуются лишь люди особенно богатые. Все другие аэростаты, один за другим, потерпели крушение, вероятно по тем же причинам, которые приводили к железнодорожным катастрофам. Население города, доходившее в то время до 600 000 человек, оказалось отрезанным от всего человечества. Некоторое время их связывала только телеграфная нить.

24 июня остановилось движение по городскому метрополитэну ввиду недостатка служащих. 26 июня была прекращена служба на городском телефоне. 27 июня были закрыты

все аптеки, кроме одной центральной. 1 июля Начальник издал приказ всем жителям переселиться в Центральную часть города, совершенно покинув периферии, чтобы облегчить поддержание порядка, распределение припасов и врачебную помощь. Люди покидали свои квартиры и поселялись в чужих, оставленных владельцами. Чувство собственности исчезло. Никому не жаль было бросить свое, никому не странно было пользоваться чужим. Впрочем, находились еще мародеры и разбойники, которых скорее можно было признать психопатами. Они еще продолжали грабить, и в настоящее время в пустынных залах обезлюдивших домов открывают целые клады золота и драгоценностей, около которых лежит полусгнивший труп грабителя.

Замечательно, однако, что при всеобщей гибели жизнь еще сохраняла свои прежние формы. Еще находились торговцы, которые открывали магазины, продавая – почему-то по невероятным ценам – уцелевшие товары: лакомства, цветы, книги, оружие... Покупатели, не жалея, бросали ненужное золото, а скряги-купцы прятали его, неизвестно зачем. Еще существовали тайные притоны – карт, вина и разврата, – куда убегали несчастные люди, чтобы забыть ужасную действительность. Больные смешивались там со здоровыми, и никто не вел хроники ужасных сцен, происходивших там. Еще выходили две-три газеты, издатели которых пытались сохранить значение литературного слова в общем разгроме. этих газет, уже в настоящее время перепродающиеся в

десять и двадцать раз дороже настоящей своей стоимости, должны стать величайшими библиографическими редкостями. В этих столбцах текста, написанных среди господствующего безумия и набранных полусумасшедшими наборщиками, – живое и страшное отражение всего, что переживал несчастный город. Находились репортеры, которые сообщали «городские происшествия», писатели, которые горячо обсуждали положение дел, и даже фельетонисты, которые пытались забавлять в дни трагизма. А телеграммы, приходившие из других стран, говорившие об истинной, здоровой жизни, должны были наполнять отчаяньем души читателей, обреченных на гибель.

Делались безнадежные попытки спастись. В начале июля громадная толпа мужчин, женщин и детей, руководимая неким Джоном Дью, решила идти пешком из города в ближайшее населенное место, Лондон-тоун. Дивиль понимал безумие их попытки, но не мог остановить их, и сам снабдил теплой одеждой и съестными припасами. Вся эта толпа, около 2000 человек, заблудилась и погибла в снежных полях полярной страны, среди черной, шесть месяцев не расцветающей ночи. Некто Уайтинг начал проповедовать иное, более героическое средство. Он предлагал умертвить всех больных, полагая, что после этого эпидемия прекратится. У него нашлось немало последователей, да, впрочем, в те темные дни самое безумное, самое бесчеловечное предложение, сулящее избавление, нашло бы сторонников. Уайтинг и его

друзья рыскали по всему городу, врываются во все дома и истребляли больных. В больницах они совершали массовые избиения. В исступлении убивали и тех, кого только можно было заподозрить, что он не совсем здоров. К идейным убийцам присоединились безумные и грабители. Весь город стал ареной битв. В эти трудные дни Орас Дивиль собрал своих сотрудников в дружину, одушевил их и лично повел на борьбу со сторонниками Уайтинга. Несколько суток продолжалось преследование. Сотни человек пали с той и с другой стороны. Наконец, был захвачен сам Уайтинг. Он оказался в последней стадии *tarna contradicensa*, и его пришлось вести не на казнь, а в больницу, где он вскоре и скончался.

8 июля городу был нанесен один из самых страшных ударов. Лица, наблюдавшие за деятельностью центральной электрической станции, в припадке болезни поломали все машины. Электрический свет прекратился, и весь город, все улицы, все частные жилища погрузились в абсолютный мрак. Так как в городе не пользовались никаким другим освещением и никаким другим отоплением, кроме электричества, то все жители оказались в совершенно беспомощном положении. Дивиль предвидел такую опасность. Им были заготовлены склады смоляных факелов и топлива. Везде на улицах были зажжены костры. Жителям факелы раздавались тысячами. Но эти скудные светочи не могли озарить гигантских перспектив Звездного города, тянувшихся на десятки километров прямыми линиями, и грозной высоты тридцати-

этажных зданий. С наступлением мрака пала последняя дисциплина в городе. Ужас и безумие окончательно овладели душами. Здоровые перестали отличаться от больных. Началась страшная оргия отчаявшихся людей.

С поразительной быстротой обнаружилось во всех падение нравственного чувства. Культурность, словно тонкая кора, выросшая за тысячелетия, спала с этих людей, и в них обнажился дикий человек, человек-зверь, каким он, бывало, рыскал по девственной земле. Утратилось всякое понятие о праве – признавалась только сила. Для женщин единственным законом стала жажда наслаждений. Самые скромные матери семейства вели себя как проститутки, по доброй воле переходя из рук в руки и говоря непристойным языком домов терпимости. Девушки бегали по улицам, вызывая, кто желает воспользоваться их невинностью, уводили своего избранника в ближайшую дверь и отдавались ему на неизвестно чьей постели. Пьяницы устраивали пиры в разоренных погребках, не стесняясь тем, что среди них валялись неубранные трупы. Все это постоянно осложнялось припадками господствующей болезни. Жалко было положение детей, брошенных родителями на произвол судьбы. Одних насиловали гнусные развратники, других подвергали пыткам поклонники садизма, которых внезапно нашлось значительное число. Дети умирали от голода в своих детских, от стыда и страданий после насилий; их убивали нарочно и нечаянно. Утверждают, что нашлись изверги, ловившие детей, чтобы насы-

тить их мясом свои проснувшиеся людоедские инстинкты.

В этот последний период трагедии Орас Дивиль не мог, конечно, помочь всему населению. Но он устроил в здании Ратуши приют для всех, сохранивших разум. Входы в здание были забаррикадированы и постоянно охранялись стражей. Внутри были заготовлены запасы пищи и воды для 3000 человек на сорок дней. Но с Дивилем было всего 1800 человек мужчин и женщин. Разумеется, в городе были и еще лица с непомраченным сознанием, но они не знали о приюте Дивиля и таились по домам. Многие не решались выходить на улицу, и теперь в некоторых комнатах находят трупы людей, умерших в одиночестве от голода. Замечательно, что среди запершихся в Ратуше было очень мало случаев заболевания «противоречием». Дивиль умел поддерживать дисциплину в своей небольшой общине. До последнего дня он вел журнал всего происходящего, и этот журнал, вместе с телеграммами Дивиля, служит лучшим источником наших сведений о катастрофе. Журнал этот найден в тайном шкафу Ратуши, где хранились особо ценные документы. Последняя запись относится к 20 июля. Дивиль сообщает в ней, что обезумевшая толпа начала штурм Ратуши и что он принужден отбивать нападение залпами из револьверов. «На что я надеюсь, – пишет Дивиль, – не знаю. Помощи раньше весны ждать невозможно. До весны прожить с теми запасами, какие в моем распоряжении, невозможно. Но я до конца исполню мой долг». Это последние слова Дивиля. Благородные слова!

Надо полагать, что 21 июля толпа взяла Ратушу приступом, и что защитники ее были перебиты или рассеялись. Тело Дивиля пока не разыскано. Сколько-нибудь достоверных сообщений о том, что происходило в городе после 21 июля, у нас нет. По тем следам, какие находят теперь при расчистке города, надо полагать, что анархия достигла последних пределов. Можно представить себе полутемные улицы, озаренные заревом костров, сложенных из мебели и из книг. Огонь добывали ударами кремня о железо. Около костров дико веселились толпы сумасшедших и пьяных. Общая чаша ходила кругом. Пили мужчины и женщины. Тут же совершались сцены скотского сладострастия. Какие-то темные, атавистические чувства оживали в душах этих городских обитателей, и, полунагие, немые, нечесанные, они плясали хороводами пляски своих отдаленных пращуров, современников пещерных медведей, и пели те же дикие песни, как орды, нападавшие с каменными топорами на мамонта. С песнями, с бессвязными речами, с идиотским хохотом сливались выклики безумия больных, которые теряли способность выражать в словах даже свои бредовые грезы, и стоны умирающих, корчившихся тут же, среди разлагающихся трупов. Иногда пляски сменялись драками – за бочку вина, за красивую женщину или просто без повода, в припадке сумасшествия, толкавшего на бессмысленные, противоречивые поступки. Бежать было некуда: везде были те же сцены ужаса, везде были оргии, битвы, зверское веселие и зверская злоба – или абсо-

лютная тьма, которая казалась еще более страшной, еще более нестерпимой потрясенному воображению.

В эти дни Звездный город был громадным черным ящиком, где несколько тысяч еще живых, человекоподобных существ были закинута в смрад сотен тысяч гниющих трупов, где среди живых уже не было ни одного, кто признавал свое положение. Это был город безумных, гигантский дом сумасшедших, величайший и отвратительнейший Бедлам, какой когда-либо видела земля. И эти сумасшедшие истребляли друг друга, убивая кинжалами, перегрызая горло, умирали от безумия, умирали от ужаса, умирали от голода и от всех болезней, которые царствовали в зараженном воздухе.

Само собой разумеется, что правительство Республики не оставалось равнодушным зрителем жестокого бедствия, постигшего столицу. Но очень скоро пришлось отказаться от всякой надежды оказать помощь. Врачи, сестры милосердия, военные части, служащие всякого рода решительно отказывались ехать в Звездный город. После прекращения рейсов электрических дорог и управляемых аэростатов прямая связь с городом утратилась, так как суровость местного климата не позволяет иных путей сообщения. К тому же все внимание правительства скоро обратилось на случаи заболевания «противоречием», которые стали обнаруживаться в других городах Республики. В некоторых из них болезнь тоже грозила принять эпидемический характер, и начиналась общественная паника, напоминая события в Звездном

городе. Это повело к эмиграции жителей изо всех населенных пунктов Республики. Работы на всех за водах были остановлены, и вся промышленная жизнь страны замерла. Однако благодаря решительным мерам, принятым вовремя, в других городах эпидемию удалось остановить, и нигде она не достигла до тех размеров, как в сто лице.

Известно, с каким тревожным вниманием весь мир следил за несчастиями молодой Республики. Вначале, когда никто не ожидал, до каких невероятных размеров разрастется бедствие, господствующим чувством было любопытство. Выдающиеся газеты всех стран (в том числе и наш «Северо-Европейский Вечерний Вестник») отправили специальных корреспондентов в Звездный город – сообщать о ходе эпидемии. Многие из этих храбрых рыцарей пера сделали жертвой своего профессионального долга. Когда же стали приходиться вести угрожающего характера, правительства различных государств и частные общества предложили свои услуги правительству Республики. Одни отправили свои войска, другие сформировали кадры врачей, третьи несли денежные пожертвования, но события шли с такой стремительностью, что большая часть этих начинаний не могла быть исполнена. После прекращения железно дорожнего сообщения со Звездным городом единственными сведениями о жизни в нем были телеграммы Начальника. Эти телеграммы немедленно рассылались во все концы земли и расходились в миллионах экземпляров. После полом-

ки электрических машин телеграф действовал еще несколько дней, так как на станции были заряженные аккумуляторы. Точная причина, почему телеграфное сообщение совершенно прекратилось, неизвестна: может быть, были испорчены аппараты. Последняя телеграмма Ораса Дивиля помечена 27 июня. С этого дня в течение почти полутора месяцев все человечество оставалось без вестей из столицы Республики.

В течение июля было сделано несколько попыток достигнуть до Звездного города по воздуху. В Республику было доставлено несколько новых аэростатов и летательных машин. Однако долгое время все попытки преследовала неудача. Наконец, аэронавту Томасу Билли посчастливилось долететь до несчастного города. Он подобрал на крыше города двух человек, давно лишенных рассудка и полумертвых от стужи и голода. Через вентиляторы Билли видел, что улицы погружены в абсолютный мрак, и слышал дикие крики, показывавшие, что в городе есть еще живые существа. В самый город Билли не решился спуститься. В конце августа удалось восстановить одну линию электрической железной дороги до станции Лиссис, в ста пяти километрах от города. Отряд хорошо вооруженных людей, снабженных припасами и средствами для оказания первой помощи, вошел в город через Северо-Западные ворота. Этот отряд, однако, не мог проникнуть дальше первых кварталов вследствие страшного смрада, стоявшего в воздухе. Пришлось подвигаться шаг за шагом, очищая улицы от трупов, оздоравливая воздух ис-

кусственными средствами. Все люди, которых встречали в городе живыми, были невменяемы. Они походили на диких животных по своей свирепости, и их приходилось захватывать силой. Наконец, к середине сентября удалось организовать правильное сообщение со Звездным городом и начать систематическое восстановление его.

В настоящее время большая часть города уже очищена от трупов. Электрическое освещение и отопление восстановлено. Остаются не занятыми лишь американские кварталы, но полагают, что там нет живых существ. Всего спасено до 10 000 человек, но большая часть их является людьми неизлечимо расстроенными психически. Те, которые более или менее оправляются, очень неохотно говорят о пережитом ими в бедственные дни. К тому же рассказы их полны противоречий и очень часто не подтверждаются документальными данными. В различных местах разысканы газеты, выходившие в городе до конца июля. Последний листок из найденных до сих пор, помеченный 22 июля, содержит в себе сообщение о смерти Ораса Дивиля и призыв восстановить убежище в Ратуше. Правда, найден еще листок, помеченный августом, но содержание его таково, что необходимо признать его автора (который, вероятно, лично и набирал свой бред) решительно невменяемым. В Ратуше открыт дневник Ораса Дивиля, дающий последовательную летопись событий за три недели, от 28 июня по 20 июля. По страшным находкам на улицах и внутри домов можно составить себе яркое представление

о неистовствах, совершавшихся в городе за последние дни. Всюду страшно изуродованные трупы: люди, умершие голодной смертью, люди, задушенные и замученные, люди, убитые безумцами в припадке исступления, и наконец, – полуобглоданные тела. Трупы находят в самых неожиданных местах: в тоннелях метрополитэна, в канализационных трубах, в разных чуланах, в котлах: везде потерявшие рассудок жители искали спасения от окружающего ужаса. Внутренности почти всех домов разгромлены, и добро, оказавшееся ненужным грабителям, запрятано в потайные комнаты и подземные помещения.

Несомненно, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Звездный город станет вновь обитаемым. Теперь же он почти пуст. В городе, который может вместить до 3 000 000 жителей, живет около 30 000 рабочих, занятых расчисткой улиц и домов. Впрочем, прибыли и некоторые из прежних жителей, чтобы разыскивать тела близких и собирать остатки истребленного и расхищенного имущества. Приехало и несколько туристов, привлеченных исключительным зрелищем опустошенного города. Два предпринимателя уже открыли две гостиницы, торгующие довольно бойко. В скором времени открывается и небольшой кафешантан, труппа для которого уже собрана.

«Северо-Европейский Вечерний Вестник», в свою очередь, отправил в город нового корреспондента, г. Андрию Эвальда, и намерен в подробных сообщениях знакомить сво-

их читателей со всеми новыми открытиями, которые будут сделаны в несчастной столице Республики Южного Креста.

Теперь, когда я проснулся,..

ЗАПИСКИ ПСИХОПАТА

Конечно, меня с детства считали извращенным. Конечно, меня уверяли, что моих чувств не разделяет никто. И я привык лгать перед людьми. Привык говорить избитые речи о сострадании и о любви, о счастье любить других. Но в тайне души я был убежден, и убежден даже и теперь, что по своей природе человек преступен. Мне кажется, что среди всех ощущений, которые называют наслаждениями, есть только одно, достойное такого названия, – то, которое овладевает человеком при созерцании страданий другого. Я полагаю, что человек в своем первобытном состоянии может жаждать лишь одного – мучить себе подобных. Наша культура наложила свою узду на это естественное побуждение. Века рабства довели человеческую душу до веры, что чужие мучения тягостны ей. И ныне люди вполне искренно плачут о других и сострадают им. Но это лишь мираж и обман чувств.

Можно составить такую смесь из воды и спирта, что прованское масло в ней будет в равновесии при всяком положении, не всплывая и не погружаясь. Иначе говоря, на него перестанет действовать притяжение земли. В учебниках физики говорится, что тогда, повинаясь лишь стремлению, присутствующему его частицам, масло соберется в форму шара. Подоб-

но этому бывают мгновения, когда человеческая душа освобождается от власти ее тяготения, от всех цепей, наложенных на нее наследственностью и воспитанием, от всех внешних влияний, обычно обуславливающих нашу волю: от страха перед судом, от боязни общественного мнения и т. д. В эти мгновения наши желания и поступки подчиняются лишь первобытным, естественным влечениям нашего существа.

Это не часы обычного сна, когда дневное сознание, хотя и померкнув, еще продолжает руководить нашим сонным «я»; это и не дни безумия, умопомешательства: тогда на смену обычным влияниям приходят другие, еще более самовластные. Это – мгновения того странного состояния, когда наше тело покоится во сне, а мысль, зная то, тайно объявляет нашему призраку, блуждающему в мире грез: ты свободен! Поняв, что наши поступки будут существовать лишь для нас самих, что они останутся неизвестными для всего мира, мы вольно отдаемся самобытным, из темных глубин воли исходящим, побуждениям. И в такие мгновения, у меня, по крайней мере, никогда не являлось желания совершить какое-либо деяние добродетели. Напротив, зная, что я останусь совершенно, до последних пределов безнаказанным, я спешил сделать что-нибудь дикое, злое и греховное.

Я всегда считал и продолжаю считать сон равноправным нашей жизни наяву. Что такое наша явь? Это – наши впечатления, наши чувства, наши желания, ничего больше. Все это есть и во сне. Сон столь же наполняет душу, как явь, столь же

нас волнует, радует, печалит. Поступки, совершаемые нами во сне, оставляют в нашем духовном существе такой же след, как совершаемые наяву. В конце концов вся разница между явью и сном лишь в том, что сонная жизнь у каждого человека своя собственная, отдельная, а явь – для всех одна и та же или считается одинаковой... Из этого следует, что для каждого отдельного человека сон – вторая действительность. Какую из двух действительностей, сон или явь, предпочесть, зависит от личной склонности.

Мне с детства сон нравился больше яви. Я не только не считал потерянным время, проведенное во сне, но, напротив, жалел часов, отнятых у сна для жизни наяву. Но, конечно, во сне я искал жизни, т. е. сновидений. Еще мальчиком я привык считать ночь без сновидений тяжелым лишением. Если мне случалось проснуться, не помня своего сна, я чувствовал себя несчастным. Тогда весь день, дома и в школе, я мучительно напрягал память, пока в ее глухом углу не находил осколка позабытых картин и, при новом усилии, вдруг не обретал всей яркости недавней сонной жизни. Я жадно углублялся в этот воскресший мир и восстанавливал все его малейшие подробности. Таким воспитанием своей памяти я достиг того, что уже не забывал своих сновидений никогда. Я ждал ночи и сна, как часа желанного свидания.

Особенно я любил кошмары за потрясающую силу их впечатлений. Я развил в себе способность вызывать их искусственно. Стоило мне только уснуть, положив голову ниже,

чем тело, чтобы кошмар почти тотчас сдавливал меня своими сладко-мучительными когтями. Я просыпался от невыразимого томления, задыхаясь, но, едва вдохнув свежего воздуха, спешил опять упасть туда, на черное дно, в ужас и содрогание. Чудовищные лики выступали вокруг из мглы, обезьяноподобный дьяволы вступали в бой между собой и вдруг с воплем кидались на меня, опрокидывали, душили; в висках стучало, было больно и страшно, но так несказанно, что я был счастлив.

Но еще более любил я, с ранних лет, те состояния во сне, когда знаешь, что спишь. Я тогда же постиг, какую великую свободу духа дают они. Их я не умел вызывать по воле. Во сне я вдруг словно получал электрический удар и сразу узнавал, что мир теперь в моей власти. Я шел тогда по дорогам сна, по его дворцам и долинам, куда хотел. При усилии воли, я мог увидеть себя в той обстановке, какая мне нравилась, мог ввести в свой сон всех, о ком мечтал. В первом детстве я пользовался этими мгновениями, чтобы дурачиться над людьми, проделывать всевозможные шалости. Но с годами я перешел к иным, более заветным радостям: я насиловал женщин, я совершал убийства и стал палачом. И только тогда я узнал, что восторг и упоение – не пустые слова.

Проходили года. Миновали дни ученичества и подчиненности. Я был один, у меня не было семьи, мне не приходилось трудом добиваться права дышать. Я имел возможность отдаваться безраздельно своему счастью. Я проводил во сне

и дремоте большую часть суток. Я пользовался разными наркотическими средствами: не ради именно ими сулимых наслаждений, но чтобы продолжить и углубить сон. Опытность и привычка давали мне возможность все чаще и чаще упиваться безусловнейшей из свобод, о которой только смеет мечтать человек. Постепенное мое ночное сознание в этих снах, по силе и ясности, приблизилось к дневному и, пожалуй, даже стало превосходить его. Я умел и жить в своих грезах, и созерцать эту жизнь со стороны. Я как бы наблюдал свой призрак, совершающий во сне то или другое, руководил им и в то же время переживал со всей страстностью все его ощущения.

Я создал себе наиболее подходящую обстановку для своих сновидений. То был обширный зал где-то глубоко под землей. Он был освещен красным огнем двух огромных печей. Стены, по-видимому, были железные. Пол каменный. Там были все обычные принадлежности пыток: дыба, кол, сидения с гвоздями, снаряды для вытягивания мускулов и для выматывания кишок, ножи, щипцы, бичи, пилы, раскаленные брусья и грабли. Когда счастливая судьба давала мне мою свободу, я почти всегда устремлялся тотчас в свое таинственное убежище. Усиленным напряжением желанья я вводил в этот подземный покой кого хотел, иногда знакомых мне лиц, чаще – рожденных в воображении, обыкновенно девушек и юношей, беременных женщин, детей. Я тешился ими, как самый мощный из деспотов земли. С течени-

ем времени у меня возникли любимые типы жертв. Я знал их по именам. В одних меня прельщала красота их тела, в других – их мужество в перенесении величайших мучений, их презрение ко всем моим ухищрениям, в-третьих, напротив, – их слабость, их безволие, их стоны и напрасные мольбы. Иногда, и даже нередко, я заставлял воскреснуть уже замученных мною, чтобы еще раз насладиться их страдальческой смертью. Сначала я был один и палачом и зрителем. Потом я создал себе, как помощников, свору безобразных карликов. Число их возрастало по моему желанию. Они подавали мне орудия пытки, они исполняли мои указания, хохоча и кривляясь. Среди них я праздновал свои оргии крови и огня, криков и проклятий.

Вероятно, я остался бы безумным, одиноким и счастливым. Но немногие бывшие у меня друзья, найдя меня больным и близким к помешательству, захотели меня спасти. Почти силой они заставляли меня выезжать, бывать в театрах и в обществе. Я подозреваю, что они с умыслом постарались представить в самом привлекательном для меня свете девушку, которая затем стала моей женой. Впрочем, вряд ли нашелся бы человек, который не счел ее достойной поклонения. Все очарования женщины и человека соединялись в той, кого я полюбил, кого так часто называл своей и кого не перестану оплакивать во все остающиеся дни жизни. А ей показали меня как страдальца, как несчастного, которого надо спасти. Она начала с любопытства и перешла к самой

полной, к самой самозабвенной страсти.

Долгое время я не решался и задумываться о женитьбе. Как ни властно было чувство, впервые поработившее мою душу, но меня ужасала мысль потерять свое одиночество, позволявшее мне на свободе упиваться видениями снов. Однако правильная жизнь, к которой меня принудили, постепенно затемнила мое сознание. Я искренно поверил, что с моей душой может свершиться какое-то преобразование, что она может отречься от своей, людьми непризнанной, правды. Мои друзья поздравляли меня в день свадьбы, как вышедшего из гроба к солнцу. После брачного путешествия мы с женой поселились в новом, светлом и веселом доме. Я убедил себя, что меня интересуют события мира и городские новости; я читал газеты, поддерживал знакомства. Я опять научился бодрствовать днем. Ночью, после исступленных ласк двух любовников, меня обычно постигал мертвый, плоский сон без далей, без образов. В кратком ослеплении я готов был радоваться своему выздоровлению, своему воскресению из безумия в повседневность.

Но, конечно, никогда, о, никогда! не умирало во мне совсем желание иных упоений. Оно было только заглушено слишком осязательной действительностью. И в медовые дни первого месяца после свадьбы я чувствовал где-то в тайниках души ненасыщенную жажду более ослепительных и более потрясающих впечатлений. С каждой новой неделей эта жажда мучила меня все неотступней. И рядом с ней вырос-

тало другое неотступное желание, в котором сначала я не решился признаться самому себе: желание привести ее, мою жену, которую я любил, на мое ночное пиршество и увидеть ее лицо искаженным от терзаний ее тела. Я боролся, я долго боролся, стараясь сохранить трезвость. Я убеждал себя всеми доводами рассудка, но не мог сам в них поверить. Напрасно я искал рассеяния, не давал себе оставаться наедине – искушение было во мне, от него уйти было некуда.

И, наконец, я уступил. Я сделал вид, что предпринял большой труд по истории религий. Я поставил в своей библиотеке широкие диваны и стал запирается там на ночь. Немного позже стал проводить там и целые дни. Я всячески скрывал свою тайну от жены; я дрожал, чтобы она не проникла в то, что я хранил так ревниво. Мне она была дорога, как прежде. Ее ласки услаждали меня не меньше, чем в первые дни нашей общей жизни. Но меня влекло более властное сладострастие. Я не мог объяснить ей своего поведения. Я предпочитал даже, чтобы она думала, что я разлюбил ее и избегаю общения с ней. И она действительно так думала, томилась и изнемогала. Я видел, что она бледнеет и чахнет, что скорбь поведет ее к могиле. Но если, поддавшись порыву, я говорил ей обычные слова любви, она оживала лишь на мгновение: она не могла поверить мне, потому что мои поступки, как казалось, слишком противоречили моим словам.

Но хотя я и проводил во сне, как прежде, почти целые сутки, отдаваясь своим видениям еще безраздельнее, чем до

свадьбы, – я почему-то утратил былую способность обретать свою полную свободу. Целые недели я оставался на своих диванах, просыпался лишь затем, чтобы немного подкрепиться вином или бульоном, чтобы принять новую дозу усыпляющего, – но желанный миг не наступал. Я переживал сладкие мучения кошмара, его пышность и беспощадность, я мог вспоминать и нанизывать вереницы многообразных снов, то последовательных и страшных именно этой торжествующей последовательностью, то дико бессвязных, восхитительных и великолепных безумием своих сочетаний, но мое сознание продолжало оставаться подернутым какой-то дымкой. Я не имел власти распоряжаться сном, я должен был выслушивать и созерцать, что давалось мне откуда-то извне, кем-то.

Я прибегал ко всем известным мне приемам и средствам: искусственно нарушал кровообращение, гипнотизировал сам себя, пользовался и морфием, и гашишем, и всеми другими усыпляющими ядами, но они мне давали только их собственные чары. После возбуждения, вызванного демоном индийского мака, наступало сладостное изнеможение, бессильная зыбь сонной ладьи на неизмеримом океане, рождающем из своих волн все новые видения, – но эти образы не повиновались моим заклятиям. Очнувшись, я с бешенством вспоминал длинные смены картин, проходивших предо мной, соблазнительных и увлекающих, но подсказанных не моей прихотью и исчезнувших не по моей воле. Я изнемогал от ярости и от желания, но был бессилен.

Помнится, прошло более шести месяцев, считая от того времени, когда я вернулся к прерванному было упоению грезами, до того дня, когда мое самое заветное счастье было возвращено мне. Во сне я вдруг почувствовал хорошо мне знакомый электрический удар и вдруг понял, что я опять свободен, что я сплю, но властен распоряжаться сном, что я могу совершить все, что пожелаю, и это все останется лишь сном! Волна несказанного восторга залила мне душу. Я не мог воспротивиться давнему искушению: моим первым движением было – тотчас найти мою жену. Но я не пожелал своего подземного покоя. Я предпочел оказаться в той обстановке, к которой она привыкла и которую она устраивала сама. Это было более утонченное наслаждение. И сейчас же, своим вторым сонным сознанием, я увидел самого себя стоящим за дверями моей библиотеки.

«Пойдем, – сказал я своему призраку, – пойдем, он а спит сейчас, и захвати с собой тонкий кинжал, ручка которого отделана слоновой костью».

Повинуясь, я пошел знакомым путем по неосвященным комнатам. Мне казалось, что я не иду, передвигая ноги, а лечу, как то всегда бывает во сне. Проходя через залу, я увидел, в окна, крыши города и подумал: «Все это в моей власти». Ночь была безлунная, но небо блистало звездами. Изпод кресел высунулись, было, мои карлики, но я сделал им знак исчезнуть. Я беззвучно приоткрыл дверь спальни. Лампадка достаточно освещала комнату. Я подступил к кровати,

где спала жена. Она лежала как-то бессильно, маленькая и худенькая; ее волосы, заплетенные на ночь в две косы, свисали с постели. У подушки лежал платок: она плакала, ложась, плакала о том, что опять не дождалась меня к себе. Какое-то скорбное чувство сжало мне сердце. В это мгновение я готов был поверить в сострадание. У меня мелькнуло желание упасть на колени перед ее постелью и целовать ее озябшие ноги. Но тотчас я напомнил себе, что это все во сне.

Удивительно странное чувство томило меня. Я мог, наконец, осуществить свою тайную мечту, сделать с этой женщиной все, что хочу. И все это должно было остаться известным лишь мне одному. А наяву я мог окружить ее всем восторгом ласк, утешить ее, любить и лелеять... Нагнувшись над телом жены, я сильной рукой сжал ее горло, так что она не могла крикнуть. Она проснулась сразу, открыла глаза и вся заметалась под моей рукой. Но я словно пригвоздил ее к постели, и она извивалась, пытаясь оттолкнуть меня, порываясь что-то сказать мне, глядя на меня обезумевшими глазами. Несколько мгновений я всматривался в синюю глубину этих глаз, исполненный несказанного волнения, потом сразу ударил эту женщину своим кинжалом в бок, под одеяло.

Я видел, как она вся вздрогнула, вытянулась, все еще не могла крикнуть, но глаза ее наполнились слезами боли и отчаянья, и слезы покатались по ее щекам. А по моей руке державшей кинжал, потекла липкая и тепловатая кровь. Я стал медленно наносить удары, сорвал одеяло с лежавшей

и колол ее, обнаженную, порывавшуюся закрыться, встать, ползти. О, как было сладостно и как страшно лезвием разрезать упругие выпуклости тела, и все его, красивое, нежное, любимое, оплетать алыми лентами ран и крови! Наконец, схватив жену за голову, я воткнул кинжал ей в шею, насквозь, позади сонной артерии, напряг все свои силы и перервал горло. Кровь заклокотала, потому что умирающая пыталась дышать; руки ее неопределенно хотели что-то схватить или смахнуть. Еще потом она осталась неподвижной.

Тогда такое потрясающее отчаяние охватило мою душу, что я тотчас рванулся, чтобы проснуться, и не мог. Я делал все усилия воли, ожидая, что стены этой спальни распадутся вдруг, уйдут и растают, что я увижу себя на своем диване в библиотеке. Но кошмар не проходил. Окровавленное и обезображенное тело жены было предо мною на постели, облитой кровью. А в дверях уже толпились со свечами люди, которые бросились сюда, услышав шум борьбы, и лица которых были искажены ужасом. Они не говорили ни слова, но все смотрели на меня, и я их видел.

Тогда вдруг я понял, что в этот раз то, что свершилось, было не во сне.